

Н. МИКАЭЛ ДЖАНЛА

ОДИН
СРЕДИ ДИКАРЕЙ

W

388

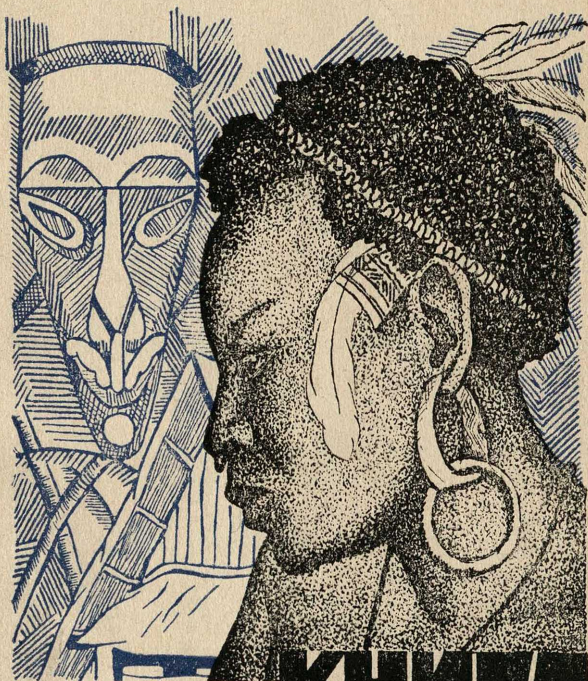
86

W 388
86.

588
86
Н. МИКЛУХА-МАКЛАЙ

ОДИН

СРЕДИ

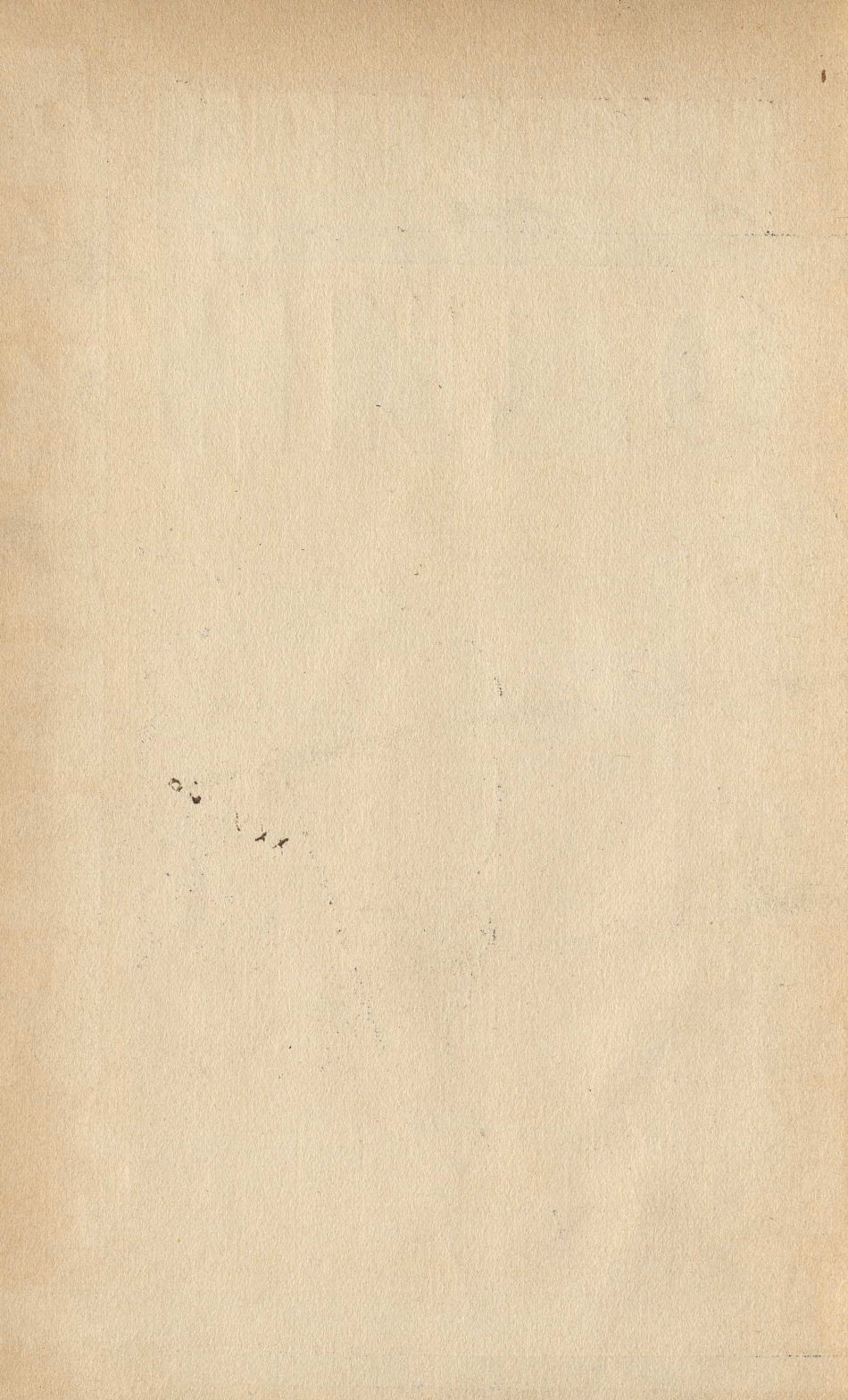


ДИКАРЕЙ

«КНИГА»

ЛЕНИНГРАД — МОСКВА

1905



W 388
86

БИБЛИОТЕКА МОЛОДОЙ РОССИИ

ОДИН СРЕДИ ДИКАРЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ
Н. Н. МИКЛУХИ-МАКЛАЯ

В ИЗЛОЖЕНИИ
Э. К. ПИМеновой

С портретом Н. Н. МИКЛУХИ-МАКЛАЯ
и 5 иллюстрациями



ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО „КНИГА“
ЛЕНИНГРАД, Пр. 25 Октября, 74. Тел. 1-34-34 и 1-70-94
МОСКВА, Б. Гнезаниковский пер., 10. Телефон 264-61.
1925

ВЫРАБОТКА МОЛОДОМ РОССИИ

ОДНО СРЕДН ДИКАРЕН

ПРИТЯЖЕНИЕ
РАЙОНАМ Н. Н. Н.



ВОЕННАЯ

ТИПОГРАФИЯ

Упр. Р.-К. К. А.

Пл. Урицк., 10.

Ленинградский

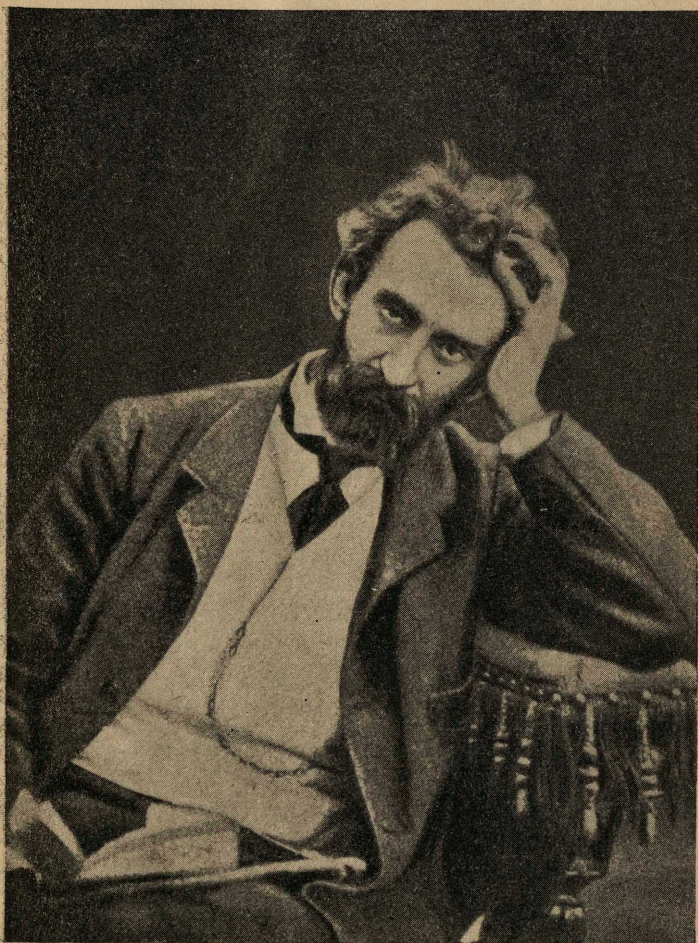
Гублит № 16118-6

Тираж 5000.

Заказ № 591.



2020125472



Н. Н. МИКЛУХА-МАКЛАЙ

ОДИН СРЕДИ ДИКРЕЙ

Имя путешественника Николая Николаевича Миклуха-Маклая принадлежит к числу тех имен, которыми в праве гордиться наша родина. Молодой русский натуралист отдал лучшие годы своей жизни на изучение быта дикарей Новой Гвинеи, никогда раньше не выдавших белых людей. Эти дикари жили еще в каменном веке, когда Миклуха-Маклай поселился среди них и провел 15 месяцев на одном из самых интересных берегов Новой Гвинеи, находясь в ежедневном общении с дикими туземцами и знакомясь с их жизнью, нравами и обычаями.

Из всех островов Тихого океана громадный остров Новая Гвинея пространством в 785 тысяч кв. миль, лежащий почти под экватором, в течение очень долгого времени посещался очень мало и то лишь случайно, хотя он и был открыт уже в XVI веке. Он не привлекал к себе мореплавателей, так как берега его не отличались доступностью, а жители его, которых малайцы называли „папуа“, т.-е. курчавые, местами выказывали открытую враждебность в отношении пришельцев. Кроме того, тропический влажный климат Новой Гвинеи и лихорадки, господствующие там, не располагали к посещению острова и к устройству там поселений, тем более, что и естественные продукты не отличались никакими особыми преимуществами или богатством перед другими островами, которые были населены более миролюбивыми туземцами и потому посещались часто.

Новая Гвинея номинально давно считалась владением Голландии, но на самом деле голландцы могли осуществить свое право владеть островом лишь кое-где по берегам в его запад-

ной части. Там находилось селение Дорех, куда, в бухту, заходили суда, не только голландские, но и разных других наций, поэтому об этой части острова и ее обитателях имелись все же некоторые сведения, тогда как другие области острова оставались неизвестными. Но именно эта неизвестность и привлекла внимание молодого путешественника Миклухи-Маклая к этим берегам.

Он выбрал для своего местожительства северо-восточный берег Новой Гвинеи. Там находилась бухта „Астролябия“, открытая французским мореплавателем Дюмон д'Юрвиллем в 1827 году. Но Дюмон д'Юрвиль даже не с'езжал на берег и производил там с'емку берега с корабля. И через 43 года после этого молодой отважный русский путешественник решил высадиться на этом берегу и надолго поселиться среди самых первобытных дикарей.

Вернувшись благополучно через 15 месяцев из своего первого путешествия в Новую Гвинею, Н. Н. Миклуха-Маклай еще два раза ездил туда и совершил еще несколько путешествий на другие острова Меланезии. В общем он провел целых двенадцать лет в этих далеких краях, но так так он получал лишь очень небольшие пособия от русского географического общества, то ему приходилось тратить на свои путешествия собственные весьма скудные средства. Этих средств ему не хватало и он делал долги, мысль о которых весьма угнетала его. Он мог вполне расплатиться с ними лишь через десять лет после своего первого путешествия, когда уже приобрел известность не только в России, но и за границей. Однако, продолжительное пребывание в тропическом климате, плохое питание, постоянные лихорадки и т. п. постепенно расстроили его здоровье. Он вернулся в Петербург в 1887 г., намереваясь подготовить к изданию описание своих путешествий, но приехал совсем больной и умер в апреле 1888 г., на 42 году жизни. И вот прошло много лет, прежде чем описание путешествий Миклухи-Маклая и его жизни в Новой Гвинее увидело свет. Миновали великая война и революция и, наконец, через пять лет существования Советской Власти явилась возможность издания первого тома, заключающего в себе дневники Миклухи-Маклая, касающиеся его пребыва-

ния на Новой Гвинее. Покойный профессор Д. Н. Анучин, один из крупнейших русских ученых в области антропологии, географии и этнографии, взял на себя огромный труд перечитать и пересмотреть все рукописи и заметки, оставленные Миклухой-Маклаем (который не успел привести в порядок своих записок) и таким образом подготовить к изданию первый том его путешествий. Только благодаря труду Д. Н. Анучину записки русского путешественника могли теперь увидеть свет.

Э. Пименова.

Один среди дикарей.

27 октября 1870 года с Кронштадтского рейда вышел корвет „Витязь“, который должен был доставить русского путешественника Николая Николаевича Миклуха-Маклая в Новую Гвинею. Корвет отправлялся в кругосветное плавание и потому Миклуха-Маклай, совершив на нем большое морское путешествие, высадился в Новой Гвинее только в сентябре 1871 года, небольшой бухточке и на ее западном мысу, который туземцы называли Гарагасси, матросы корабля и судовой плотник нарубили деревьев и построили для Миклухи небольшой домик в 14 фут. длиной и в семь шириной. Место это находилось на расстоянии получаса ходьбы от туземной деревни Бонгу.

Миклуха-Маклай назвал этот мысок Мысом Уединения и поселился там вместе со своими двумя слугами. Со стороны моря это место защищали коралловые рифы, а со стороны суши была сделана ограда из волнистой жести. На всякий случай моряки заложили вокруг домика несколько мин, которые, в случае крайности, можно было бы взорвать. Кроме того Миклухе-Маклаю была оставлена небольшая шлюпка, которая могла вместить трех человек.

Само собою разумеется, что сначала туземцы отнеслись недоверчиво и даже несколько враждебно к пришельцу. Но его бесстрашие и спокойное тактичное поведение много способствовали установлению дружеских отношений между ним и туземцами, в особенности после того как он оказал врачебную помощь дикарю, раненому в голову упавшим деревом. Осторожное и разумное поведение Миклухи, его смелость и мужество снискали ему уважение и расположение туземцев,

которые относились к нему с большим почтением. Они называли его „Каарай тамо“, т.-е. „человек с луны“, после того как он однажды зажег бенгальский огонь, до такой степени поразивший туземцев, что они приписали ему сверхъестественное могущество. Надо заметить при этом, что он никогда не прибегал к оружию, не брал с собой револьвера и даже не стрелял дичь поблизости деревни туземцев, чтобы не напугать ее жителей. Он ходил по деревням всегда без оружия и только с большой палкой с железным острием на конце, которая служила ему для защиты от нападения свиней, иногда довольно свирепых.

Когда у этого берега впервые появился русский военный корабль, то это произвело потрясающее впечатление на туземцев. Многие из них бросили свои деревни и бежали в горы, но по прошествии пары дней, когда они увидели, что ничего страшного не произошло, то понемногу стали возвращаться, чтобы посмотреть на большое чудовище, каким им представлялся корабль.

Сам Миклуха-Маклай с первого же раза произвел на дикарей большое впечатление своим удивительным спокойствием, он не обращал внимания на стрелы, которые они намеренно пускали мимо него, рассчитывая напугать его. Он так же спокойно и без всякого страха отстранял копья, которые они направляли на него, видимо испытывая его терпение. Но при всем своем бесстрашии Миклуха-Маклай всегда сохранял необходимую осторожность. Если же к его дому приближалась большая толпа вооруженных людей, то из земли тотчас же с треском вырывался огонь. Разумеется, на туземцев это производило сильное впечатление и они немедленно разбежались, заложенные же вокруг домика Маклая мины были очень хорошей мерой предосторожности и удерживали туземцев на почтительном расстоянии.

В своих записках Миклуха-Маклай следующим образом объясняет, почему он выбрал Новую Гвинею целью своих путешествий и исследований: „Читая описания путешествий,— говорит он,— почти что во всех я находил очень недостаточными описания туземцев в их первобытном состоянии, т.-е. в таком состоянии, в котором люди жили и живут до более

близкого столкновения с белыми или же с расами, обладающими определенной цивилизацией (как, напр., индусская, китайская, арабская и т. д.). Путешественники, или оставались слишком короткое время среди этих туземцев и не могли вполне ознакомиться с их образом жизни, обычаями, уровнем их умственного развития и т. д. или же, главным образом, занимались собиранием коллекций, наблюдением других животных, а на людей обращали совершенно второстепенное внимание. Между тем, как известно, эти первобытные расы, при столкновении с европейской цивилизацией, с каждым годом исчезают, поэтому не следует упускать время для их изучения, вот почему мне и хотелось посвятить такому изучению несколько лет своей жизни. И вот, на мою долю выпало редкое счастье наблюдать население, жившее совершенно обособленной жизнью, вне сношений с другими пародами и притом находившееся на такой ступени развития культуры, когда все орудия и оружие изготовляются только из камня, кости и дерева. У этих дикарей я не нашел никаких следов европейских вещей и можно с уверенностью заключить, что до моего прибытия, они не имели никаких сношений с европейцами“.

Об отношениях папуасов к Миклухе-Маклаю рассказывают, между прочим, и другие путешественники, собравшие о нем сведения у туземцев, спустя уже много лет после его смерти. Среди своих дикарей Миклуха-Маклай жил как отец среди своих детей, внушая к себе любовь и страх. Его боялись, потому что в случае надобности он умел и наказывать. Так, однажды, по рассказам туземцев, он выбрил одному деревенскому парню пол головы за то, что тот дерзко солгал ему. А так как прическа составляет высшее украшение у мужчин папуасов, то наказанный в течение нескольких месяцев не мог открыто появляться в своей деревне. Один миссионер, разговаривая с туземцами о Миклухе, спросил их, — не получали ли они когда-нибудь побоев от него? Они со смехом отвечали: — О, у Маклая была скорая рука! Не раз он задавал здоровую трепку нашей молодежи.

Но туземцы все-таки чувствовали, что Миклуха относится к ним тепло и говорили, что у него „добрые глаза“. Взрослый

туземец составляет мнение о чужом человеке по глазам. Если глаза у него „добрые“, то туземцы относятся к нему предупредительно и стараются ему понравиться.

Уезжая из бухты Астролябия в ноябре 1877 года, Миклуха-Маклай оставил там множество своих вещей и, когда вновь вернулся туда через шесть лет, то нашел все в полной сохранности, так как туземцы охраняли его собственность. Участки земли, которые он приобрел у туземцев посредством мены, около деревни Бонгу и на острове Били-Били, считались туземцами его неприкосновенной собственностью еще в 1900 году, но место, где он жил во время своего первого пребывания, превратилось уже через несколько лет в первобытный лес. На острове Били-Били туземцы показывали кокосовые пальмы, принадлежавшие Миклухе-Маклаю. Такое уважение к собственности Миклухи-Маклая тем более замечательно, что островок Били-Били очень мал и густо заселен, поэтому земля там очень ценится.

Миклуха-Маклай приехал в Новую Гвинею как путешественник и исследователь, но постепенно, по мере того, как папуасы подчинялись его влиянию и становились доверчивее, видя в нем какое-то высшее существо, отношение Миклухи к папуасам тоже переменялось. Папуасы перестали быть для него только предметом научного исследования, а он как бы сроднился с ними, полюбил их и с увлечением сделался их руководителем и покровителем. Это в особенности стало заметно во время его последующих поездок в Новую Гвинею. Он являлся уже не столько ученым, изучающим быт и нравы дикарей, сколько защитником прав угнетаемых австралийских племен, постепенно стираемых с лица земли.

ИЗ ДНЕВНИКА Н. Н. МИКЛУХИ-МАКЛАЯ.

Первое знакомство с дикарями.

19-го сентября 1871 г. около 10 часов утра показался, наконец, окутанный отчасти облаками, высокий берег Новой Гвинеи.

Береговая полоса возвышалась правильными террасами или уступами, приблизительно до 1.000 футов высоты. Многочисленные ущелья и овраги, наполненные густой зеленью пересекали их и соединяли таким образом верхний лес с прибрежным узким поясом растительности. В двух местах на берегу виднелся дым, свидетельствовавший о присутствии человека. Около шести часов вечера мы увидели маленький островок у берега, покрытый лесом. Между светлой зеленью кокосовых пальм на островке виднелись крыши хижин, а на берегу можно было различить и людей. У островка впадала речка, которая должно быть протекала по поляне.

На другой день я поднялся рано и вышел на палубу, рассчитывая до восхода солнца увидеть вершины гор свободными от облаков. Ожидание не обмануло меня,—горы были ясно видны. Большею частью они представляли сплошную высокую стену, которая была почти повсюду одинаковой высоты. По мере того, как мы подвигались дальше, растительность становилась обильнее. Затем показались два мыса, из них северный, названный Дюмон д'Юрвиллем мысом Дюпере, далеко вдавался в море, но оказался, при ближайшем исследовании, не мысом материка Новой Гвинеи, а одним из островков архипелага, который я впоследствии назвал Архипелагом довольных людей.

На вопрос командира корвета, в каком месте берега я желаю высадиться, я указал на более высокий левый берег, полагая, что правый, низкий, может оказаться нездоровым. Мы долго вглядывались в берег залива, желая открыть хижины туземцев, но кроме столбов дыма на холмах ничего не заметили. Однако, когда мы подошли ближе к берегу, то старший офицер крикнул нам, что видит бегущих дикарей. Действительно, можно было различить в одном месте песчаного берега несколько темных фигур, которые то бежали, то останавливались.

Около этого места виден был небольшой мысок, за которым, казалось, находилась небольшая бухта. Мы направились туда и предположение мое относительно существования бухты оправдалось, громадные деревья, росшие у самой окраины скалистого берега, где глубина была несколько сажен, опускали свои ветви до самой поверхности воды. Лианы и разные другие паразитные растения, переплетаясь, образовывали своими гирляндами настоящую занавесь между деревьями и только северный песчаный мысок этой бухточки был открыт.

Вскоре на этом мыске показалась группа дикарей. Они повидимому сильно трусили. Но после долгих совещаний, один из них выдвинулся из группы, неся кокосовый орех, который он положил у берега и жестами указал на него, точно желая объяснить, что кокос этот предназначается для нас. Сделав это, он быстро скрылся в чаще леса.

Я обратился к командиру с просьбой дать мне шлюпку, чтобы отправиться на берег, но не хотел, чтобы меня сопровождали матросы. Я взял только своих обоих слуг, Ульсона и Боя, и отправился знакомиться с моими будущими соседями, захватив с собой предварительно кое-какие подарки: бусы, красную бумажную материю, разорванную на куски и на узкие полоски в виде ленточек.

Мы приблизились к берегу, где я увидел на песке несколько туземных пирог. Но тут я высадиться не мог вследствие сильного прибоя. Между тем из-за кустов показался вооруженный копьем туземец и, подняв над головой копье, жестами хотел дать мне понять, чтобы я удалился. Когда же

я поднялся в шлюпке и показал ему несколько красных тряпок, то из леса выскочило еще около дюжины вооруженных разным дрекольем дикарей. Видя, что туземцы не осмеливаются подойти к шлюпке и не желая прыгать в воду, чтобы добраться до берега, я бросил мои подарки в воду, надеясь, что волна прибьет их к берегу. Однако, туземцы, при виде этого, энергично замахали руками, показывая, чтобы я удалился. Я понял, что наше присутствие мешает им войти в воду и взять вещи и поэтому приказал моим людям грести подальше. Как только мы отплыли от берега, туземцы тотчас же, наперегонку, бросились в воду и красные тряпки были моментально вытащены. Казалось, они им очень понравились и они с большим любопытством рассматривали их и много толковали между собой, но никто из них не отваживался подойти к моей шлюпке.

Моя попытка завязать с ними знакомство была неудачна и я вернулся на судно, где мне сказали, что видели дикарей в другом месте берега. Я немедленно отправился в указанном направлении, но и там не оказалось дикарей, только в маленькой бухточке далее виднелись из-за стены зелени, доходившей до самой воды, концы вытащенных на берег пирог. Наконец, в одном месте берега, между деревьями, я заметил белый песок. Я быстро направился к этому месту, которое оказалось очень красивым и уютным уголком, и, высадившись там, я увидел узенькую тропинку, проникавшую в чащу леса. Я с таким нетерпением выскочил из шлюпки и направился по тропинке в лес, что даже не отдал никаких приказаний моим людям, которые занялись привязыванием шлюпки к ближайшим деревьям.

Пройдя по тропинке шагов тридцать, я заметил между деревьями несколько крыш, а далее тропинка привела меня к площадке, вокруг которой стояли хижины с крышами, спускавшимися почти до земли. Деревня дикарей имела очень опрятный и очень приветливый вид. Середина площадки была хорошо утоптана, а кругом росли пестролиственные кустарники и возвышались пальмы, дававшие тень и прохладу. Побелевшие от времени крыши из пальмовой листвы красиво выделялись на темно-зеленом фоне окружающей зелени, а ярко-

пунцовые цветы китайской розы и желтоз-еленые и желто-красные листья разных видов растений оживляли общую картину леса, состоявшего из бананов, панданусов, хлебных деревьев, ореховых и кокосовых пальм. Высокий лес кругом ограждал площадку от ветра. Хотя в деревне и не оказалось живой души, но повсюду были видны следы ее обитателей, только недавно покинувших ее. На площадке иногда вспыхивал тлеющий костер, в другом же месте валялся кокосовый орех, молоко которого еще не было допито. Тут же лежало брошенное второпях весло. Двери некоторых хижин были тщательно заложены какой-то корой и заколочены накрест пластинами расколотого бамбука. У двух хижин, однако, двери остались открытыми; видно хозяева их куда-то очень торопились и не успели их запереть. Двери находились на высоте двух футов, так что казались скорее окнами, чем дверьми. Они представляли единственное отверстие, через которое можно было проникнуть в хижину (рис. 1).

Я подошел к одной из таких дверей и заглянул внутрь. В хижине было темно и с трудом можно было разглядеть находившиеся в ней предметы. Там были высокие нары из бамбука. На полу лежало несколько камней, между которыми тлел огонь и которые служили опорой стоявшего на них сломанного глиняного горшка. На стенах висели связки раковин и перьев, а под крышей—почерневший от копоти человеческий череп. Лучи заходящего солнца освещали теплым светом красивую листву пальм, а в лесу раздавались незнакомые крики каких-то птиц. Было так хорошо, мирно и вместе все было так чуждо и незнакомо здесь, что казалось скорее сном, нежели действительностью.

В то время, как я подходил к другой хижине, послышался шорох. Оглянувшись в направлении, откуда он исходил, я увидел в нескольких шагах точно выросшего из земли человека, который поглядел секунду в мою сторону и кинулся в кусты. Я пустился за ним почти бегом по тропинке, размахивая красной тряпкой, которая нашлась у меня в кармане. Туземец оглянулся и увидев, что я один, без всякого оружия и знаками прошу его подойти, остановился. Я медленно приблизился к нему, молча подал ему красную

тряпку, которую он принял от меня с видимым удовольствием и повязал ею себе голову. Дикарь этот был среднего роста, темно-шоколадного цвета с матово-черными кур-

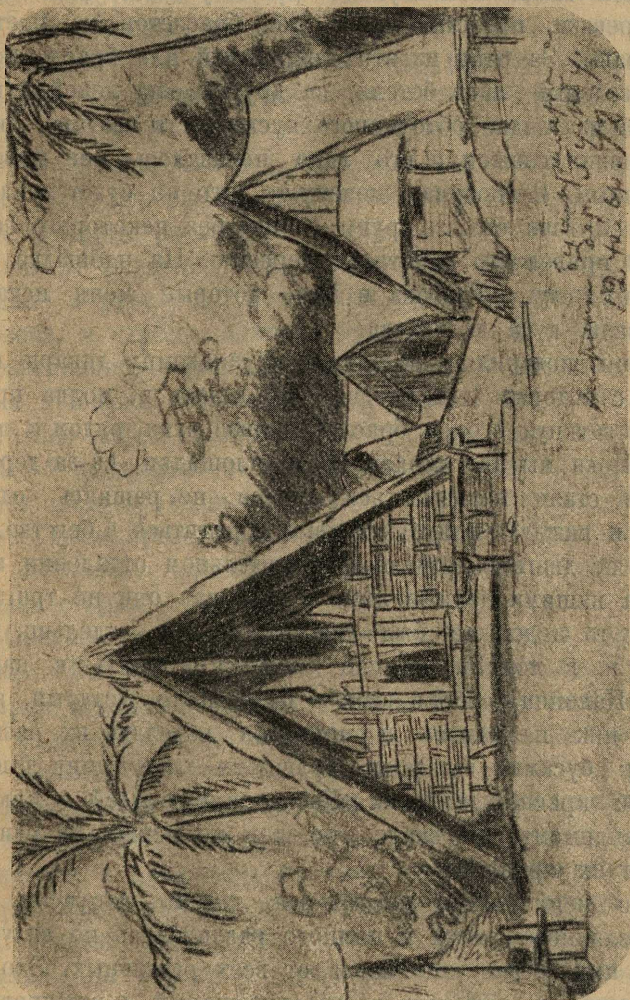


Рис. 1. Деревня дикарей.

чавыми, как у негра, короткими волосами, широким сплюснутым носом, глазами, выглядывавшими из-под нависших надбровных дуг, с большим ртом, почти закрытым торчащими

усами и бородой. Весь костюм его состоял из какой-то серой тряпки, шириной около восьми сантиметров, повязанной сначала в виде пояса, спускавшийся далее между ног и прикрепленной сзади к поясу. На руках у него, выше локтя, были перевязи, представлявшие род браслетов из плетеной сухой травы. За одну из этих перевязей или браслетов был заткнут зеленый лист бетеля, за другую, на левой руке, — род ножа из гладко обточенного куска кости казуара. Дикарь был хорошо сложен и его лицо показалось мне довольно симпатичным. Я подумал почему-то, что он будет меня слушаться. Я взял его за руку и не без некоторого сопротивления привел его обратно в деревню. На площадке я нашел моих слуг, Ульсона и Боя, которые меня искали и недоумевали, куда я девался.

Ульсон подарил моему первому знакомцу дикарю кусок табаку, с которым тот не знал что делать и, молча приняв подарок, заткнул его за браслет правой руки, рядом с листом бетеля. Пока мы так стояли среди площадки, из за деревьев и кустов стали показываться дикари, не решаясь, однако, подойти и каждую минуту готовые обратиться в бегство. Они молча и не двигаясь стояли в почтительном отдалении, зорко следя за нашими движениями, и так как они не трогались с места, то я должен был каждого из них, отдельно, взять за руку и в полном смысле слова притащить к нашему кружку. Наконец, собрав всех в одно место, усталый, я сел посреди них на камень и принялся наделять их разными мелочами: бусами, гвоздями, крючками для ужения рыбы и полосками красной материи. Назначение гвоздей и крючков они, повидимому, не знали, но, тем не менее, ни один не отказался их принять.

Около меня собралось человек восемь папуасов. Они были различного роста и немного различались по виду. Но один из них резко отличался от всех остальных. Это был человек довольно высокого роста, худощавый, с крючковатым носом. Борода и усы были у него выбриты, а на голове возвышалась целая шапка краснобурых волос, из под которой сзади спускались на шею пряди крученых волос в виде локонов. Эти локоны висели за ушами и спускались до плеч.

В волосах торчали два бамбуковых гребня и на одном из них, воткнутом на затылке, красовалось несколько черных и белых перьев казуара и какаду, в виде веера. В ушах были продеты большие черепаховые серьги, а в носовой перегородке—бамбуковая палочка, толщиной в очень толстый карандаш, с вырезанным на ней узором. На шее, кроме ожерелья из зубов собак и других животных, раковин и т. п. висела небольшая сумочка, а на левом плече висел другой мешок, спускавшийся до пояса и наполненный разного рода вещами. У этого дикаря, как и у всех остальных, верхняя часть рук была туго перевязана плетеными браслетами, за которыми были заткнуты различные предметы: кости, листья или цветы. У многих на плече висел каменный топор, а некоторые держали в руках лук почтенных размеров, почти что в рост человека, и стрелу, длиной более метра. Как цвет волос,—то совершенно черный, то выкрашенный красной глиной,—так и прически были у них различные. У одних волосы стояли на голове целой шапкой, у других они были коротко острижены. У некоторых на затылке висели локоны, но решительно у всех волосы были курчавые, как у негров. Волосы на бороде тоже представляли мелкие завитки. Цвет кожи также был несколько разных оттенков и молодые туземцы были светлее старых.

Солнце уже садилось и поэтому я решил вернуться на корвет. Вся толпа дикарей проводила меня до берега, неся подарки для меня: кокосы, бананы и двух очень диких поросят, у которых ноги были крепко накрепко связаны и которые визжали без устали. Все это было положено в шлюпку. В надежде еще более закрепить хорошие отношения с туземцами и вместе с тем показать офицерам корвета моих новых знакомых, я предложил знаками окружавшим меня папуасам сопровождать мне на своих пирогах. После долгих рассуждений человек пять поместились в двух пирогах, другие же остались на берегу и даже, как мне показалось, усиленно отговаривали более отважных дикарей от такого смелого и рискованного предприятия. Одну из пирог я взял на буксир и мы направились к корвету. Но на полдороге даже эти смелые дикари поколебались и стали знаками показывать, что

не хотят ехать дальше. Они старались отдать буксир, другая же, свободная пирога, быстро вернулась к берегу.

Один из сидевших в пироге, которую мы тащили за собой, пытался даже своим каменным топором перерубить конец, служивший буксиром. Не без труда нам все-таки удалось втащить дикарей на палубу и Ульсон и Бэй почти-что насильно подняли их на трап. На палубе я взял наших пленников под руки и повел их. Они тряслись всем телом от страха и не могли без моей поддержки держаться на ногах, думая, вероятно, что их убьют.

Между тем совсем стемнело, принесен был фонарь и дикари мало-по-малу успокоились, даже повеселели, когда офицеры корвета подарили им разные вещи и угостили чаем, который они сразу выпили. Несмотря на такой любезный прием, они все-таки с видимым удовольствием и с большой поспешностью спустились по трапу в свою пирогу и быстро стали грести обратно к деревне.

На корвете мне сказали, что во время моего отсутствия туземцы опять показались на берегу и принесли с собой двух собак, которых тут же убили и оставили на берегу в виде подарка для нас.

Берег залива Астролябия в том месте, где корвет бросил якорь, окружен горами, из которых самая высокая достигает пяти—шести тысяч футов. Горы покрыты густой растительностью до самой вершины и во многих местах пересекаются долинами. Кое-где горы приближаются к самому берегу, а лес местами спускается до самого моря, так что нижние ветви больших деревьев находятся в воде. Главные береговые селения дикарей находятся там, где берег окаймлен коралловыми рифами и не так доступен морским приливам, поэтому там может находиться удобная пристань для туземных пирог.

Я сделал все эти наблюдения на рассвете, стоя на мостике корвета, и остался вполне доволен общим видом страны, которую избрал для исследования, а может быть и для продолжительного пребывания. После завтрака я снова отправился в деревню, в которой был вчера вечером. Мой первый знакомый, папуас Туй, и несколько других вышли ко мне навстречу. Я решил остаться в деревне подольше, потому

что на корвете в этот день, после молебна по случаю дня рождения великого князя, должен был происходить установленный пушечный салют. Своим присутствием среди туземцев я надеялся несколько ослабить испуг, который могли вызвать у дикарей эти пушечные выстрелы.

Было еще рано и поэтому я отправился сначала приискывать место для моей будущей хижины. Я не хотел селиться в самой деревне или хотя бы вблизи от нее, во-первых, потому, что не знал ни характера, ни нравов моих будущих соседей, а во-вторых—я был совершенно незнаком с их языком и не мог испросить их согласия на это. Навязывать же им свое присутствие я считал бестактным. При том же я очень не любил шума и боялся, что вблизи деревни меня будут беспокоить и раздражать крики взрослых, плач детей и вой собак.

Я пошел из деревни по тропинке и минут через десять подошел к маленькому мыску, возле которого протекал небольшой ручей и росла группа больших деревьев. Место это показалось мне очень удобным для жилья, как вследствие близости к ручью и уединенного положения, так и потому, что оно находилось почти на тропинке, соединявшей вероятно соседние деревни. Выбрав место своего будущего жилища, я тотчас же поторопился назад в деревню. Я пришел туда, когда уже начались пушечные выстрелы, но, повидимому, они больше приводили туземцев в недоумение, нежели пугали их. При каждом новом выстреле туземцы то пытались бежать, то ложились на землю, затыкали себе уши и тряслись всем телом, точно в лихорадке, или же приседали. Я чувствовал себя в очень глупом положении. При всем желании успокоить их и сохранить серьезность, я не в состоянии был удержаться от смеха. Но вышло так, что мой смех оказался самым действительным средством против страха туземцев. Смех вообще заразителен и я вскоре заметил, что и папуасы, следуя моему примеру, стали тоже ухмыляться, глядя друг на друга. Довольный, что все обошлось благополучно, я вернулся на корвет, а затем капитан, старший офицер, доктор и я, мы отправились вчетвером, чтобы окончательно выбрать место для постройки хижины. Хотя мой выбор был уже сде-

лан, но все же не мешало посмотреть и другие места, которые могли оказаться лучше. Из трех осмотренных нами мест одно нам особенно понравилось. Там впадал в открытое море значительный ручей, но я заключил по многим признакам, что туземцы имеют обыкновение часто приходить туда и оставлять там свои пироги. Кроме того, недалеко от этого места находились их плантации. Поэтому я и решил поселиться лучше на первом избранном мною месте.

С корвета были присланы люди, которые тотчас же принялись за очистку этого места от кустов и мелких деревьев, а плотники начали постройку хижины, забивая сваи под тенью двух громадных деревьев.

Целых четыре дня я был занят постройкой хижины. Я с'езжал на берег вместе с плотниками часов в шесть утра и оставался там до вечера. Моя хижина была разгорожена пополам перегородкой из крашеной парусины. Одну половину занял я сам, а другую назначил для моих слуг Ульсона и Боя. Так как досок, взятых с острова Таити, не хватило на постройку, то из дерева сделана была только нижняя половина стен, для верхней же части и для дверей употребили брезент. Для крыши были заготовлены циновки, сплетенные особнным образом из листьев кокосовой пальмы. Эту работу я поручил Бою. Пол, половина стен и стойки по углам были сделаны из леса, купленного в Таити и приспособленного на корвете, но сваи, верхние скрепления и стропила пришлось вырубать и изготовлять уже на месте. Рабочих рук было много и работа шла успешно. Туземцы, вероятно, напуганные пальбой с судна, во время салюта, а также присутствием большого количества людей, показывались мало, не больше трех человек, да и то лишь изредка. Офицеры же корвета занимались с'емкой бухты и кроме того посетили несколько туземных прибрежных деревень, где за разные мелочи (бусы, пуговицы, гвозди, простые бутылки и т. п.) набрали множество разного оружия и утвари и выменяли, между прочим, также более десятка черепов. Мы дали названия разным местностям, а островок, который виднелся у мыса Дюпере, назвали островом „Витязя“. Но я узнал потом, что туземцы называли его Били-Били.

Наступил последний день пребывания корвета. Между тем пришел мой доброжелатель, туземец Туй и своей выразительной мимикой старался об'яснить мне, что когда корвет уйдет (он указал на корвет и на далекий горизонт) и мы останемся втроем (он указал на меня, Ульсона и Боя и на землю), то придут из соседних деревень туземцы (он указал на лес и как бы называл деревни), они разрушат хижину (он подошел к ней и сделал вид, точно рубит сваи) и заколют нас копьями (тут он выпрямился, отставил одну ногу назад и, закинув правую руку над головой, имел вид человека, бросающего копье). Затем он подошел ко мне, толкнул меня несколько раз в грудь пальцем и, наконец, полузакрыв глаза, открыв немного рот и высунув кончик языка, принял положение человека, падающего на землю. То же самое он проделал, указывая поочередно на Ульсона и Боя. Я очень хорошо понял его предостережения, но сделал вид, что не понимаю его. Тогда он снова стал называть имена деревень: Бонгу, Горенду, Гумбу и т. д. и показывать, что рубит сваи. На все это я только махнул рукой и подарил ему гвоздь. Возвратясь на корвет, я рассказал об этом в кают-компании. Тогда один из офицеров, заведующий артиллерийской частью, предложил приготовить несколько мин и расположить их вокруг моего дома. Я не отказался от такого средства защиты, к которому мог бы прибегнуть в случае крайней необходимости, если бы туземцы действительно вздумали явиться с теми враждебными намерениями, которые старался об'яснить мне Туй.

Я отправился в Новую Гвинею не с целью кратковременного путешествия, а имел в виду продолжительное пребывание там, в течение нескольких лет. Поэтому я пришел к заключению, что мне следует быть независимым от европейской пищи. Я знал, что у папуасов плантации не дурны, свиней они тоже имеют, но главным образом охота всегда могла прокормить их. По этой причине, проводя многие месяцы на судне в море, где питаются во время плавания главным образом консервами, успевшими мне порядочно-таки надоесть, я совершенно равнодушно отнесся к обеспечению себя провиантом в последнем порту. Я взял там кое-что, но

в общем так мало, что капитан удивился и предложил уделить мне многое из своей провизии. Я принял это с благодарностью, так как эта провизия могла мне пригодиться в случае болезни. Капитан дал мне, кроме того, самую маленькую из шлюпок корвета, с которой, в крайности, мог управиться и один человек. Я был в высшей степени доволен этим обстоятельством, так как иметь шлюпку было для меня очень удобно. При ее помощи я мог ознакомиться с другими береговыми деревнями, а в случае полной неудачи добиться доверия туземцев, я мог на этой шлюпке переселиться в другую, более гостеприимную местность.

Кончив разборку вещей на корвете, я стал перевозить их на берег. Мое небольшое помещение скоро до такой степени переполнилось, что пришлось значительное число ящиков поставить под домом для предохранения от дождя, солнца и расхищения.

Мины были расположены около домика полукругом, для защиты от нападения дикарей со стороны леса. Около дома была расчищена площадка в 70 метров длиной и 70 шириной, окруженная с одной стороны морем, а с трех сторон густым лесом. Я указал командиру и офицерам место, где я намерен был в случае надобности (серьезной болезни, опасности от туземцев и т. п.) зарыть свой дневник, заметки и т. д. Это место находилось под большим деревом, недалеко от хижины и чтобы легче было найти его, на соответствующей стороне ствола дерева кора была снята приблизительно на один фут и вырезана фигура стрелы, направленной вниз.

Маленькую бухточку, где стояла моя хижина, я назвал Портом Константин. Работа вокруг нее кипела: копали ямы для мин, вырубали кусты, устраивали более удобный спуск от площадки к песчаному берегу моря у устья ручья и т. д. Моя хижина была до такой степени завалена вещами, что с трудом нашлось местечко, чтобы прилечь. Несмотря на крайнюю усталость, я не мог заснуть: муравьи и комары не давали мне покоя. Однако, мне уже доставило облегчение то, что я мог закрыть глаза, хотя я и не мог спать. Около четырех часов утра я вернулся на корвет,

чтобы там написать письма, так как не находил для этого места в своем помещении.

Поблагодарив за все оказанные мне услуги командира и офицеров корвета и простившись со всеми ими, я спустился в свою шлюпку и окончательно с'ехал на берег. Когда якорь корвета показался из воды, я приказал Ульсону опустить развевавшийся над деревом у самого мыса флаг, но, заметив, что он не опускается, я подошел к Ульсону посмотреть в чем дело и к своему удивлению и негодованию увидел, что у моего слуги, обыкновенно так храбrivшегося на словах, дрожат руки, глаза полны слез и он тихо всхлипывает. Я сказал ему тогда, что, пока корвет еще не ушел, он может вернуться на шлюпке, но только не должен мешкать, а то будет поздно. Но Ульсон все-таки остался. Первая мысль, пришедшая мне в голову, когда корвет начал удаляться, была та, что туземцы, пользуясь уходом огромного дымящегося страшилища, могут каждую минуту нагрянуть в мое поселение, разнести мою хижину и сваленные в беспорядке вещи. Я понял, что с этой минуты я предоставлен исключительно самому себе и все дальнейшее уже будет зависеть от моей собственной энергии, воли и труда.

Действительно, как только корвет скрылся за горизонтом, на соседнем мыске показалась толпа папуасов. Они прыгали и бегали, описывая круги. Движения их были похожи на какую-то пляску, по крайней мере все они делали одни и те же движения. Вдруг все остановились и стали глядеть в мою сторону. Вероятно один из них заметил русский флаг, развевавшийся у моей хижины. Они сбегались в кучку, переговаривали, затем опять повернулись в мою сторону, что-то прокричали и скрылись.

Необходимо было немедленно же приступить к разборке вещей, разбросанных в беспорядке в хижине и шалаше, но от усталости, волнения и двух почти бессонных ночей, я находился в весьма плачевном состоянии: голова кружилась, ноги подкашивались, руки плохо слушались.

Скоро пришел Туй разведать, остался ли я или нет? Он уже не с прежним добродушием поглядывал на меня, а подозрительно осматривал мой дом. Он хотел войти в него, но

я жестом и словом „табу“ остановил его. Не знаю, что на него подействовало, мой жест или слово, но он вернулся на свое место. Туй знаками спрашивал меня, вернется ли корвет, на что я отвечал утвердительно. Желая избавиться от гостя, который мешал мне разбирать вещи, я просил его (я уже знал десятка два слов) принести мне кокосовых орехов и подарил ему при этом кусок красной тряпки.

Он действительно тотчас же удалился, но не прошло и часа, как он снова вернулся в сопровождении двух мальчиков и одного взрослого папуаса. Все они почти ничего не говорили и сохраняли очень серьезное выражение лица. Даже маленький мальчик, лет семи, очень задумчиво смотрел на нас. Туй улегся и пытался заснуть или же делал вид, что спит и зорко следил за всеми моими движениями, как я, тогда не стесняясь присутствием гостей, продолжал устраиваться в моем новом помещении.

Туй опять обошел все мины и подозрительно смотрел на рычаги с привешенными камнями и веревками. Они кажутся сильно интересовали его, но он не осмеливался близко приблизиться к ним. Наконец, он простился с нами, причем сделал странный кивок головой назад и проговорил что-то, чего я, однако, не расслышал и не успел записать. Я с первого же дня знакомства с папуасами постоянно носил в кармане записную книжку, куда и записывал при каждом удобном случае слова туземного языка.

Туй вскоре ушел, но затем, спустя несколько времени, послышался свист, звонкий и протяжный и из-за кустов выступил целый ряд папуасов с копьями, стрелами и другим дрекольем.

Я вышел к ним навстречу, приглашая их знаками подойти поближе. Они разделились на две группы. Одна группа, более многочисленная, поставив свое оружие около деревьев, приблизилась ко мне; другая же, состоящая из шести человек, осталась около оружия. Это были жители деревни за мыском, которых я наблюдал сегодня утром, по уходе корвета, когда они прыгали и бегали. Деревня их называлась Гумбу. Я подарил им разные безделки и отпустил, показав им, что хочу спать.

Лунный вечер был очень хорош. Разделив ночь на три вахты, я взял на себя самую утомительную, вечернюю вахту, от 9 до 12 часов ночи. Когда же в 12 часов меня сменил Ульсон, то я все же долго не мог заснуть вследствие сильного утомления и ночь показалась мне очень длинной, несмотря на все свое великолепие.

Я провел весь день в разборке и установке вещей, что оказалось вовсе не так просто: вещей было много, а места мало. Наконец, мне удалось разместить их в несколько этажей. Кое-что я подвесил, другое поместил на чердаке, который мы с Ульсоном ухитрились устроить под крышей. Одну сторону моей комнаты, в семь футов длиной и семь шириной, занимал стол шириной около двух футов, другую—две корзины, образующие мою койку, тоже около двух футов шириной. В проходе, шириной около трех футов, помещалось необходимое и удобное для меня складное кресло.

Наш повар Бой три раза приготовлял нам еду сегодня и в четвертый раз спросил, не сварить ли нам еще немного рису? Я же никуда не ходил и решил отдыхать весь день. Ночь я проспал, как убитый, не просыпался ни разу. Погода стояла прекрасная и весь день не было видно папуасов. Я предложил Ульсону и Бою последовать моему примеру и больше не караулить ночью, а спать, но они об'явили мне, что боятся дикарей. На руках и на лбу у меня образовались целые подушки от укушений комаров, муравьев и других насекомых. Странное дело, но я гораздо меньше страдаю от этих неприятностей, чем Ульсон и Бой, которые приходят ко мне каждое утро жаловаться на то, что проклятые насекомые не дают им по ночам покоя.

Мне кажется, жизнь здесь начинает входить в обычную колею, которую на время нарушил приход корвета. Я уже видел днем несколько туземцев, но решил быть очень осторожным в своих сношениях с ними. Во всех описаниях я всегда читал о вероломстве и хитрости дикарей и пока я не составляю себе о них собственного мнения, решил быть настороже.

По вечерам я любовался освещением гор и каждый раз находил в этом новое удовольствие. Я наслаждаюсь тишиной,

которая царит здесь по уходе корвета. Не слышно людского говора, ни споров, ни брани, и только по временам какая-нибудь птица нарушает общее спокойствие. Эта перемена обстановки действует на меня очень благотворно и я отдыхаю. Потом эта ровность температуры, великолепие растительности, красота местности заставляют меня совершенно забывать прошлое, не думать о будущем и только любоваться настоящим. Моя цель отныне — думать и понять окружающее. Чего мне больше? С одной стороны море с коралловыми рифами, с другой лес с тропической растительностью. Все это полно жизни и разнообразия. Я вижу вдаль горы с их причудливыми очертаниями и над ними клубятся облака с не менее фантастическими формами. Я лежал на толстом стволе повалившегося дерева, думая обо всем этом и был доволен, что добрался до цели или вернее до первой ступени длиннейшей лестницы, по которой я могу ее достигнуть.

Сношения с туземцами.

Я взял урок папуасского языка у Туя и, прибавив несколько новых слов к моему лексикону, тщательно записал их. Я был доволен своим учителем и поэтому подарил ему ящик от сигар, а Ульсон дал ему старую шляпу. Туй был в восторге и быстро удалился, точно боясь, что мы раздумаем и возьмем назад данные ему вещи. Но, может быть, он просто хотел поскорее показать свои новые подарки своим соплеменникам.

Спустя час показалась процессия туземцев, около 25 человек. Впереди шли двое и несли на плечах привешенного к бамбуковой палке поросенка, а на голове у них находилась посуда; остальные же несли кокосовые орехи. В толпе я увидел Туя и несколько других знакомых туземцев. Все эти дары туземцы положили на землю передо мной, а потом каждый из них отдельно передал мне в руки свой подарок. Часть туземцев расположилась около меня, другим же Туй стал объяснять употребление тех вещей, которые уже были известны ему. Туземцы с большим интересом все рассматривали, быстро переходя от одного предмета к другому, но говорили мало и вообще не шумели. Они не подходили к лестнице, т.-е. к дверям моего дома, но было ли это из чувства деликатности или из боязни—я не знаю. Они все знали мое имя и обращаясь ко мне, называли меня по имени.

Около Боя собрался целый кружок туземцев, привлеченных его игрой на губной гармонии, на которой Бой играл с большим искусством. Музыка произвела необычайный эффект. Папуасы обступили Боя и с видимым любопытством и интересом прислушивались к этой детской музыке. Они очень

обрадовались, когда я им подарил несколько подобных гармоний и тотчас же начали упражняться на этом инструменте. Просидев около часа, папуасы ушли и при прощании протягивали мне левую руку.

Мне очень хотелось познакомиться поближе с туземцами и я решил идти в одну из деревень. Я остановился над вопросом, брать или не брать револьвер? Конечно, я не знал, какого рода прием ожидает меня в деревне, но, подумав, решил, что револьвер не может принести большой пользы моему предприятию. Возможно, что если бы я уложил человек шесть на месте, то в первое время страх оградил бы меня от туземцев, но надолго ли? Жажда мести и многочисленность туземцев в конце-концов превозмогли бы страх перед револьвером. Затем, поразмыслив дальше, я решил идти в деревню не вооруженным. Чем более я обдумывал свое положение, тем яснее было для меня, что моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении. Поэтому я оставил револьвер дома и захватил с собой только записную книжку и карандаш.

Я хотел идти в Горенду, ближайшую деревню, но в лесу случайно попал на другую тропинку. Когда я заметил свою ошибку, то все же решил продолжать путь, предполагая, что и по этой тропинке я все-таки дойду до какого-нибудь туземного селения. Я был так погружен в раздумье о туземцах, которых я все-таки почти не знал и о предстоящей встрече с ними, что совсем незаметно для себя очутился около деревни. Какая это была деревня—я не имел понятия. Слышалось несколько голосов мужских и женских. Я остановился для того, чтобы сообразить, где я и что должно теперь случиться.

Пока я стоял в раздумьи, в нескольких шагах от меня появился мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. Мы молча, с секунду, глядели в недоумении друг на друга... Говорить я не умел, а подойти к нему—значило напугать его еще больше. Я продолжал стоять на месте. Мальчик же стремглав бросился назад в деревню. Послышалось несколько громких возгласов, женский визг и затем наступила полнейшая тишина.

Я вошел на площадку. Группа вооруженных кольями людей стояла посредине и оживленно разговаривала вполголоса. Другие же, все вооруженные, стояли поодаль. Ни женщин, ни детей не было,—они вероятно попрятались. Увидев меня, несколько копий были подняты и некоторые туземцы приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить в меня копьё. Однако, несколько восклицаний и коротких фраз, раздавшихся с разных концов площадки, было достаточно, чтобы копья опустились. Усталый и отчасти неприятно удивленный этой встречей, я продолжал медленно подвигаться, смотря кругом и надеясь увидеть какое-нибудь знакомое лицо. Такого не нашлось. Я остановился и ко мне подошло несколько туземцев. Вдруг пролетели,—не знаю, было ли это нарочно или без всякого умысла,—одна за другой две стрелы очень близко от меня. Стоявшие около меня туземцы громко заговорили, обращаясь вероятно к тем, кто пустил стрелы, а затем, обратившись ко мне, показали на дерево, как бы желая объяснить, что стрелы были пущены с целью убить птицу на дереве. Но птицы там не оказалось и мне подумалось, что туземцам хочется знать, как я отнесусь к сюрпризу, которым явились для меня эти пролетевшие мимо меня стрелы. Я мог заметить, что как только пролетела первая стрела, много глаз обратилось в мою сторону, как бы изучая мою физиономию. Но они вероятно ничего не заметили на ней, кроме выражения усталости и может быть некоторого любопытства. Я же в свою очередь стал глядеть кругом. Я видел угрюмые, встревоженные, недовольные лица и взгляды, как будто спрашивавшие меня, зачем я пришел нарушить их спокойную жизнь? И мне самому стало неловко. В самом деле, зачем я пришел стеснять этих людей. Никто из них не покидал оружия, кроме двух или трех стариков.

Число туземцев все прибывало. Очевидно, другая деревня была недалеко и тревога, вызванная моим приходом, распространилась и туда. Небольшая толпа окружила меня. Двое или трое говорили очень громко и как-то враждебно поглядывали на меня. При этом, как бы в подкрепление своих слов, они размахивали копьями, которые держали в руках. Один из них был даже так нахален, что копьём, при какой-

то фразе, которую я, разумеется, не понял, вдруг размахнулся и чуть-чуть не попал мне в глаз или в нос. Его движение было замечательно быстро и уж, конечно, не я сам избежал поранения, потому что я не успел даже сдвинуться с места, где стоял. Однако, ловкость и верность руки туземца была такова, что он успел остановить конец своего копья в нескольких сантиметрах от моего лица. Я отошел шага на два в сторону и мог расслышать несколько голосов, которые, — как мне может быть показалось, — отнеслись все же неодобрительно к такой бесцеремонности.

В эту минуту я похвалил себя за то, что оставил револьвер дома. Ведь я не мог быть уверен, что отнесусь так же хладнокровно и ко второму опыту, если мой противник вздумает повторить его.

Мое положение было глупое. Я не умел говорить с туземцами, поэтому мне лучше было бы уйти. Но мне страшно захотелось спать, а домой идти было далеко. Отчего же не лечь спать здесь? Все равно ведь я не мог разговаривать с туземцами и они не могли меня понять!..

Не раздумывая долго, я высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку и с громадным удовольствием растянулся на ней. Было очень приятно закрыть глаза, утомленные солнечным светом. Однако, мне пришлось снова открыть их, потому что надо было поискать что-нибудь, чтобы подложить под голову, затем развязать шнурки башмаков и распустить пояс. Я видел, что туземцы остановились полукругом в некотором отдалении от меня, вероятно удивляясь моему поступку и делая предположения о том, что будет дальше.

Перед тем, как снова закрыть глаза, я видел того самого туземца, который чуть не ранил меня. Он стоял недалеко и разглядывал мои башмаки.

Я припомнил все происшедшее и подумал, что все это могло бы кончиться очень серьезно и в то же время у меня промелькнула мысль, что может быть это только начало, а конец еще впереди? Но если уж суждено мне быть убитым, то не все ли равно, будет ли это стоя, сидя, лежа на циновке или же во сне! Далее мне пришло в голову, что это

было бы лишь небольшим удовлетворением для меня, если бы за это заплатились жизнью несколько туземцев. И я был доволен, что не взял с собой револьвера...

Засыпая, я прислушивался к голосам птиц, только резкий крик летающих лори ¹⁾ несколько раз заставлял меня очнуться. Треск цикад несколько не мешал мне и скорее даже убаюкивал меня. Должно быть я скоро заснул, потому что встал очень рано и часа два шел по солнцу. Разумеется, с непривычки я чувствовал большую усталость и в особенности устали у меня глаза от яркого дневного света.

Я проснулся, проспав вероятно больше двух часов, и, открыв глаза, увидел нескольких туземцев, сидевших вокруг цыновки, в двух шагах от меня. Они жевали бетель и разговаривали вполголоса. Они были без оружия и смотрели на меня уже не так угрюмо, как прежде. Я очень пожалел, что еще не умею разговаривать с ними. Я решил идти домой и потому начал приводить в порядок свой костюм, что очень занимало туземцев, наконец, я встал, кивнул головой в разные стороны и отправился в обратный путь.

После шести часов вечера поднялся довольно сильный ветер со шквалами и дождем. Температура быстро понизилась. Здесь делается темно уже в семь часов и в безлунные ночи темень бывает такая страшная, что дом нельзя разглядеть, даже находясь в четырех шагах от него.

Муравьи здесь выводят меня из терпения; они ползают по голове, забираются в бороду и очень больно кусаются. Бой до того искусан и так расчесал укушенные места, что у него распухли ноги и одна рука покрылась ранами. Я обмыл раны разведенным нашатырным спиртом и более глубокие перевязал карболовой кислотой. Вечером зашел ко мне Туй и выпросил у меня топор, так как ему было необходимо что-то перерубить. Он обещал скоро возвратить его, и я поспешил исполнить его просьбу, интересуясь знать, что выйдет из этого опыта моей доверчивости. Но курьезнее всего, что мы уже понимали друг друга, хотя я еще и не знал туземного языка.

¹⁾ Особый вид попугаев.

Туй скоро принес мне бамбук, но о топоре не упоминал. Я нашел, что книги и рисунки кажутся туземцам чем-то особенно страшным. Многие встали и хотели уйти, когда я показал им рисунок (портрет) из какой-то иллюстрации. Они просили меня скорее унести его в дом и успокоились только тогда, когда я это сделал.

Однако, я напрасно усумнился в честности Туя. Он принес мне топор в тот же день, еще до шести часов. Эта черта очень порадовала меня и я подарил ему зеркало, с которым он немедленно убежал в деревню, вероятно, чтобы похвастаться полученным подарком. Этот подарок побудил должно быть и других туземцев посетить меня. Они мне принесли кокосов и сахарного тростнику, а я им дал пустую коробку и гвозди средней величины. Немного погодя явилось еще несколько человек, также с подарками, и я дал каждому из них по два гвоздя средней величины. Впрочем, это не была купля и продажа, а просто обмен подарков. Они дарят, потому что у них этого много и вовсе не ожидают вознаграждения. Я уже несколько раз испытывал туземцев в этом отношении, т.-е. ничего не давал им в обмен на принесенные ими кокосы, сахарный тростник и проч. Они ничего за них не требовали и уходили, не взяв своих подарков назад.

Я сделал еще одно наблюдение: и моя хижина, и я сам, мы производили на туземцев какое-то особенное впечатление. Им не сидится у меня: они осматриваются, точно каждую минуту ожидают появления чего-нибудь особенного. Некоторые смотрят на мою хижину и на вещи в ней каким-то завистливым взглядом, по крайней мере мне так кажется. Были и такие, которые смотрели на меня очень злобными и враждебными глазами.

Кругом моего мыса трудно пройти по лесу. Везде валяются срубленные деревья, сучья на спутанных лианах загораживают путь и старые тропинки во многих местах завалены. Все это изумляет папуасов; своими каменными топорами они не могли бы и в целый год нарубить столько деревьев, сколько матросы срубили в несколько дней.

Всю ночь в соседней деревне Горенду раздавалась музыка: дудка и барабан. Дудки у них сделаны из скорлупы кокосо-

вого ореха особенно малой величины, в которой просверлены отверстия сверху и сбоку. Впрочем, дудки делаются также и из бамбука. Барабан же состоит из большого выдолбленного ствола, от двух до трех метров длиной и шириной до трех четвертей метра. Он имеет вид корыта и поддерживается двумя брусками. Когда ударяют по бокам этого корыта большими палками, то удары слышатся на расстоянии нескольких миль.

По всей вероятности, у дикарей сегодня праздник. У приходивших ко мне лицо было выкрашено красной охрой и на спине нарисованы разные узоры. Почти у всех в волосах воткнуты гребни с перьями.

Туй прислал мне с одним из своих сыновей свинины, плодов хлебного дерева и бананы. Все было хорошо сварено и аккуратно завернуто в большие пальмовые листья.

Жители Горенду приходили ко мне с гостями, жителями островка Били-Били. Они имели парадный вид и носили множество разных украшений из раковин, зубов собаки и клыков свиньи. Лица и спины у них были размазаны, а выкрашенные волосы взбиты. Если не по лицу,—так как тип у них у всех был одинаковый,—то по украшениям можно было отличить жителей Били-Били от жителей Горенду и других ближайших деревень. Они широко раскрывали глаза при виде какого-нибудь неизвестного им предмета и, слегка разинув рот, клали палец между зубами. Это было характерным выражением изумления у туземцев.

Когда стало темнеть, я вздумал пройти немного по тропинке. Мне хотелось убедиться, можно ли возвращаться ночью из деревни. Вдруг сделалось так темно, что я поспешил вернуться домой. Общее направление тропинки можно было разглядеть, но тем не менее я вернулся домой с разбитым лбом и больным коленом, потому что наткнулся сперва на какой-то сук, а затем и на какой-то пенек. Итак, по лесу ночью не придется ходить!..

Утром на другой день я пошел в лес. Я выбирал тропинки, которые, по моим соображениям, должны были привести меня в деревню. Сперва я шел по густому лесу, с громадными деревьями и наслаждался разнообразием и роскошью

тропической растительности. Из леса я вышел к морю. Следуя морским берегом, не трудно было добраться до деревни. Так как я никого не встретил дорогой, то некому было дать знать жителям Гумбу о моем приближении. Свернув с морского берега на хорошо утоптанную тропинку и сделав несколько шагов, я услышал голоса мужчин и женщин. Скоро из-за зелени показались и крыши хижин. Пройдя около одной из них, я очутился на первой площадке деревни, где увидел довольно многочисленную и оживленную сцену. Двое мужчин работали над исправлением крыши одной из хижин и казались очень занятыми. Несколько молодых девушек и мальчиков плели, сидя на земле, циновки из листьев кокосовой пальмы и подавали их тем, которые поправляли крышу. Две или три женщины возились с ребятами, а две громадные свиньи с поросятами доедали остатки завтрака.

Солнце стояло уже высоко, но на площадке было много тени и поэтому жар вовсе не чувствовался. Разговор был общий и казался очень оживленным. Я с громадным интересом смотрел на эту картину. Но вдруг раздался пронзительный крик и поднялась страшная суматоха. Женщины и девушки с криками и воплями бросили свои занятия и стали хватать грудных детей, которые громко заплакали, так как их внезапно разбудили. Подростки, которых привел в недоумение испуг матерей, тоже завизжали и заголосили, таща за собой маленьких детей и боясь оглянуться, за ними побежали не только девушки, но даже собаки с воем и свиньи с сердитым хрюканьем.

Мужчины, встревоженные воплями женщин, сбежались со всей деревни. Они были вооружены чем попало и обступили меня со всех сторон. Я стоял спокойно посреди площадки, удивляясь этой тревоге и недоумевая, почему мой приход вызвал такую кутерьму. Мне очень хотелось успокоить туземцев словами, но я таких слов не знал и потому мне приходилось довольствоваться только жестами. Туземцы стояли вокруг меня нахмуренные и перекидывались словами, которых я не понимал.

Я устал от утренней прогулки и потому взобрался на одну из высоких платформ. Довольно удобно расположившись

на ней, я пригласил жестами туземцев последовать моему примеру. Некоторые из них, повидимому, поняли, что я не имею намерения вредить им. Они заговорили спокойнее и даже отложили в сторону свое оружие. Но другие все еще подозрительно смотрели на меня и не выпускали из рук своих копий. Я видел ясно, что приход мой крайне неприятен им и что они ждут с нетерпением, чтобы я удалился. Им не нравился мой внимательный осмотр и то, что я, вынув свой альбом, начал что-то рисовать в нем. Многие, чтобы избавиться от моего пристального взгляда, встали и ушли, что-то ворча.

Мне очень хотелось пить и кругом меня лежали кокосовые орехи, но никто из дикарей не предложил мне ни одного из них, валявшихся на земле, чтобы утолить жажду свежим кокосовым молоком. Никто из них не подошел ближе и не постарался заговорить со мной, а все смотрели враждебно и угрюмо.

Я видел, что, оставаясь дольше, я не добьюсь ничего и знакомство мое с дикарями не подвинется вперед ни на шаг. Поэтому я решил идти домой. Я встал и при общем молчании прошел через площадку и отправился на тропинку, которая привела меня к морю. Было очевидно, что победить недоверие туземцев нелегко. Понадобится много терпения и такта с моей стороны, чтобы достигнуть этого.

Домой я пришел только к закату солнца и мои слуги уже начали беспокоиться, что меня так долго нет. Они сказали мне, что в мое отсутствие приходили два туземца из Горенду и принесли три свертка: для меня, для Ульсона и Боя. Я приказал раскрыть эти свертки; там оказались варенные бананы, плоды хлебного дерева и куски какого-то мяса, похожего на свинину. Мясо мне не особенно понравилось, но Ульсон и Бой с большим удовольствием съели его. Однако, я их смутил, сказав, что это может быть человеческое мясо. Они стали с жаром уверять меня, что это была свинина, хотя я все-таки остался в сомнении.

Мы кончили крышу веранды, но мне пришлось не мало повозиться с уборкой своего гнезда. Мое помещение имеет всего только одну квадратную сажень, а вещей у меня тьма.

Однако, все-таки мое жилище улучшается с каждым днем и все больше и больше нравится мне.

Бедный Бой заболел. Он лег, закутавшись с головой в одеяло и еле-еле мог отвечать на мои расспросы. У него оказалась довольно высокая температура.

Из-за мыса, спустя дня два после этого, вдруг показался парус. Это была большая пирога особенной постройки, с крытым помещением наверху, в котором сидели люди. Один из них стоял на руле и управлял парусом. Подойдя ближе к мыску, рулевой, повернувшись в нашу сторону, начал что-то кричать и махать руками.

Я еще ни разу не видал здесь такой большой пироги. Она направилась в Горенду, а через пять минут показалась другая, еще больше первой. На ней находился целый домик или вернее, большая клеть, в которой помещалось человек шесть или семь туземцев, защищенных крышей от жарких лучей солнца. На обеих пирогах было по две мачты, из которых одна была наклонена вперед, другая назад.

Я догадался, что мои соседи хотят показать своим гостям такую диковинку, какую представляет для них белый человек и поэтому я приготовился к встрече. Действительно, через четверть часа, с двух сторон, из деревень Горенду и Гумбу, показались туземцы. Я узнал, что гости явились с острова Били-Били и с ними пришли несколько моих соседей туземцев, желавших показать своим гостям разные диковинные вещи, находившиеся возле хижины белого человека. Люди из Били-Били с большим интересом и удивлением рассматривали все: кастрюли и чайник на кухне, мое складное кресло и столик на площадке, мои башмаки и полосатые носки, которые в особенности вызвали их восторг. Они не переставали отерывать рот, приговаривая протяжно „а-а-а“ „э-э-э“... и чмокать губами, а порою всовывать палец в рот. Гвозди им также понравились. Я дал им, кроме гвоздей, несколько бус и по красной тряпке, к великой досаде Ульсона, который был недоволен, что я раздаю вещи даром, так как гости пришли без всяких подношений.

У туземцев из Били-Били часть волос была тщательно выкрашена красной охрой. Лоб и нос были раскрашены

той же краской, а у некоторых были размалеваны даже спины. У многих на шее висело ожерелье, которое спускалось на грудь и состояло из двух клыков папуасской свиньи, связанных таким образом, что, висая на груди, они составляли лежащую цифру 3. Это украшение жители Горенду называют „буль-ра“ и очень его ценят. Я предлагал им за „буль-ра“ нож, но они не согласились на такой обмен, хотя ножик очень соблазнял их. Но моими подарками они остались очень довольны и ушли в отличном настроении.

Однако, через полчаса я снова увидел их, что меня очень удивило. Они вернулись, нагруженные кокосами и бананами. Оказалось, что они сходили к своим пирогам за подарками для меня. Здесь существует особая церемония поднесения подарков: каждый приносит свои дары отдельно от других и передает их прямо в руки тому лицу, которому хочет дарить. Так было и сегодня: каждый туземец передал свой подарок сперва мне, затем Ульсону, получившему меньше, чем я, а Бою дали еще меньше. Туземцы Били-Били долго оставались у моей хижины и, уходя, когда уже начало темнеть, стали знаками указывать на меня и на мою шлюпку, а затем на свой островок, который виднелся вдали. Они жестами показывали мне, что они меня не убьют и не съедят и что у них много кокосов и бананов. Прощаясь, они пожимали мне руку выше локтя. Двое из них, которые получили от меня почему-то больше, чем другие, обнимали меня левой рукой, прижимая к своей груди, и приговаривали: „О, Маклай! О, Маклай!“ Когда они отошли на несколько шагов, то полуобернулись и, согнув руку в локте, сначала сжали кулак, а потом разогнули руку. Это был их последний прощальный привет мне, после которого они быстро скрылись.

На другой день у меня сделался первый пароксизм лихорадки. Как я ни крепился, а все же должен был лечь и пролежал весь день. Чувствовал себя скверно. На другой день заболел Ульсон. Когда я встал, ноги у меня дрожали и подгибались. Бой также уверяет, что нездоров, так что моя хижина превратилась теперь в настоящий лазарет, и я ухаживал за двумя больными, которые стонали и охали, хотя

я и сам едва волочил ноги. На следующий день пароксизм лихорадки повторился и у меня, так что мы все лежали больные и было нам скверно, а когда начнется дождливое время года, то будет вероятно еще хуже.

Приходил Туй и я от него узнал название деревень, которые виднелись с моего мыса. Я удивлялся числу туземных названий, каждый маленький мысок или ручеек непременно имеют отдельное название. Я удивлялся также смысленности Туя, когда расспрашивал его. Я записывал названия, которые он мне говорил и на той же бумаге сделал набросок всей бухты, отмечая относительное положение деревень. Туй это понимал. Я несколько раз проверял произношение названий деревень, громко прочитывая их, и Туй поправил не только два названия, но даже самый набросок карты. Но мне все же казалось странным, что мое записывание имен и черчение на бумаге нисколько не интересовали его; он как будто даже не замечал этого.

Я дал своим больным по приему хины и, сварив к завтраку по две порции риса на человека, отправился в лес. Птиц здесь много и я решил, что буду ходить на охоту, как только туземцы попривыкнут ко мне. Консервы мне опротивели и мне хотелось добыть дичи. Когда я вернулся из леса, то нашел Ульсона все еще охающим на своей койке, но Бой уже встал и варил бобы к обеду.

Туй пришел с тремя туземцами из Гумбу. Привезенный мною американский табак начинает нравиться туземцам, но они смешивают его со своим. Курят они таким образом: берут полувысушенный на солнце, еще мягкий лист туземного табаку, расправляют его руками и высоко держат над огнем, чтобы высушить, затем разрывают его на мелкие кусочки и эти кусочки свертывают в виде сигары и заворачивают в высушенный над огнем особенный лист, который они употребляют для этой цели. Туземцы отыскивают такие листья в лесу. Свернутая таким образом сигара готова и они по очереди курят ее. Каждый, затянувшись дымом один или два раза, медленно проглатывает его и передает сигару соседу.

Один из моих гостей туземцев удивительно искусно приготавливал из ствола какого-то гибкого вьющегося растения

тонкие, узкие полоски, которые служили для плетения браслетов. Эти браслеты—„Саго“ туземцы носили на руках у плеч и на ногах у колен. Туземец очень ловко работал осколками раковины, которые он менял или же обламывал их, чтобы получить острый край, служивший ему вместо ножа.

Я узнал от Туя, что горы вокруг залива Астролябия очень населены. Он называл мне множество деревень и к каждому названию прибавлял слово „Мана“, т.-е. гора.

Ульсон и Бой никуда не годятся. Бой едва двигается вследствие сильной опухоли желез в паху, а Ульсон еле ворочает языком, весь день валяется на своей койке, а ночью вздыхает и охает. Я никуда не могу отлучаться надолго, так как туземцы не слушаются ни Ульсона, ни Боя, между тем как я заставляю их одним взглядом повиноваться мне. Замечательно как они не любят, когда я на них смотрю. Если же я нахмурюсь и взгляну на них пристально, они тотчас же бегут прочь.

Единственным лакомством для меня является здесь кокосовое молоко. Кроме него и чаю я ничего не пью. Обыкновенно я выпиваю по два кокосовых ореха в день.

Мы начали разводить огород и сделали гряды. Это была нелегкая работа, так как слой земли очень незначителен и, немного покопав, мы натыкались на коралл. Мы посеяли бобы, семена тыквы из Тайти и кукурузу.

Мне нанесли визит тринадцать человек из Ямбомбы,—островка около Били-Били. Вероятно они много слышали обо мне от других туземцев. Из моих подарков им больше всего понравились гвозди.

Жизнь в Новой Гвинее.

Я хочу рассказать, как я проводил до сих пор большинство дней на берегу Новой Гвинеи.

Вставал я обыкновенно раньше моих слуг, часов в пять, когда было еще полутемно, и тотчас же шел посмотреть вокруг дома, не случилось ли чего-нибудь нового за ночь. Затем я спускался к ручью, чтобы помыться и большую частью я забывал взять с собою мыло. Спустишься вниз и лишь тогда вспомнишь, что мыло забыл, а подняться за ним лень! Но я нашел прекраснейший суррогат мыла в мелком песке на дне ручья. Захватишь немного этого песка, потрешь им руки, которые делаются после этого совершенно чистыми, хотя немного краснеют. Затем, крепко зажмурясь, я вытираю этим же песком лицо. Одно только неудобство, что много песка остается в бороде. Домой я возвращаюсь около шести часов, когда уже совсем светло. Бой тогда разводит огонь и согревает воду для чая, а я иду на веранду и сажусь там в ожидании чая, который я пью с сухарями или с печеными бананами, очень приятными на вкус.

Около семи часов я записывал температуру воздуха, воды в ручье и в море, высоту прилива, высоту барометра, направление и силу ветра и т. д. Я вынимаю из земли зарытый на один метр глубины термометр и записываю его показание. Окончив метеорологические наблюдения, я отправлялся или на коралловый риф за морскими животными, или в лес за насекомыми. Обыкновенно я занимался какой-нибудь работой до 11-ти часов, а в одиннадцать часов я завтракал. Завтрак всегда состоял из риса сваренного с кёри¹⁾). После завтрака я ложился в гамак, повешенный на веранде, и качался в нем

¹⁾ Соя—приправа с большим количеством перца и других пряностей.

до часа, причем частенько засыпал. Но в час я снова делал метеорологические наблюдения. Затем я принимался за какую-нибудь работу, как, например, за приведение в порядок наблюдений, записанных мною в карманной книжке, а иногда читал что-нибудь. Но приход папуасов часто прерывал мои занятия. Впрочем, я был доволен этим, потому что пользовался каждым случаем, чтобы прибавить несколько слов к моему папуасскому словарю. После пяти часов я обыкновенно отправляюсь в лес погулять до обеда, который готовится Бой к шести часам. Обед состоит всегда из тарелки отваренных чилийских бобов с небольшим куском „чарки“ — так называется чилийская сушеная говядина, которую я привез из Чили. Затем я выпиваю одну или две чашки чаю. Тарелка рису утром, тарелка бобов вечером и несколько чашек чаю в день — вот была моя ежедневная пища. Я отдал моим слугам привезенные мною несколько банок мясных и рыбных консервов, потому что самый вид этих консервов был мне противен. Время после обеда уходит у меня на разные домашние работы, чистку ружей и уборку моей кельи, затем, сменив мой костюм, сделанный из бумажной материи, на фланелевый, я сажусь, когда стемнеет, на пенек у берега, слежу за приливом и отливом, рассматриваю далекий горизонт, облака и т. д. Иногда же я снова ложусь в гамак и прислушиваюсь к раздающимся кругом меня в лесу крикам птиц и трескотне десятков разноголосых цикад. В 8 часов я ухожу в комнату, зажигаю свою небольшую лампочку, более похожую на ночник, нежели на лампу, и пишу свой дневник. Между восемью и девятью часами опять произвожу метеорологические наблюдения, затем очищаю кокосовый орех и выпиваю его прохладительное молоко. После этого, вернувшись в комнату, я осматриваю свои заряженные ружья и ложусь на свою жесткую постель, состоящую из двух корзин, покрытых одеялом вместо тюфяка и простынь. Засыпаю я обыкновенно очень быстро.

Жизнь эта с виду очень однообразна, но я нахожу ее очень интересной. Заболевание Ульсона и Боя, конечно, несколько нарушали ее обычный ход. Частые визиты туземцев тоже нарушают ее обычное течение.

Туй пришел ко мне с двумя туземцами, которые были вооружены копьями, луками и стрелами. Кроме того, у каждого было на плече по топору. Я выразил желание, чтобы они показали мне употребление лука и стрел и они это тотчас же исполнили. Стрела пролетела около 65 шагов, но я заметил, что даже легкий ветер оказывает влияние на ее полет. На таком расстоянии она вряд ли может серьезно ранить. Другое дело — на 20 или тридцать шагов, и Туй может быть прав, уверяя, что стрела может пронзить руку насквозь.

Туй показал мне целый маневр боя. Держа лук и стрелы на левом плече, а копьё в правой руке, он отбежал шагов на десять, бросаясь в разные стороны и сопровождая каждое движение коротким, резким криком. Он то натягивал тетиву лука и пускал стрелу, то наступал и копьём как будто старался ранить неприятеля. То он прятался за деревьями, нагибался или же быстро отпрыгивал в сторону, избегая воображаемой стрелы. Другой туземец, соблазнившись его примером, присоединился к нему и стал изображать его противника. Это был очень интересный и характерный турнир.

Встав утром 24-го октября, я был удивлен внезапным появлением грибов различных форм, которых я прежде не видел. Они выросли решительно повсюду: на стволах деревьев, на земле, на камнях и даже на перилах моей веранды. Вчера вечером их не было и они очевидно выросли за одну ночь.

Лунная ночь была очень хороша и в лесу было фантастически красиво. Я лежал в гамаке, подвешенном между деревьями и, прислушиваясь к ночной музыке, любовался разнообразием растительных форм, облитых лунным сиянием. Но это лежание не прошло мне даром. Ночью я почувствовал озноб и проснулся совершенно расслабленным. Все утро меня одолевала такая лень, что я почти ничего не делал. Мне даже лень было читать и держать книгу, когда я лежал в гамаке, это казалось мне утомительным.

На другой день пошел дождь и мне приходилось перетаскивать свои вещи с одного места на другое. Крыша протекает и на голову мне стали капать крупные капли холодного дождя. Весь следующий день я проработал в лесу и

в хижине вместе с Ульсоном. чтобы исправить крышу. Бой не может ничего делать. Он страдает от своей опухоли и все время охает. Он стонал всю ночь и его стон часто будил меня, вследствие чего я проспал на другой день и проснулся, когда уже стало совсем светло. Ульсон принес мой завтрак на веранду и сказал мне, что Туй уже давно сидит в кухне. Выпив чай, я отправился на кухню, которая помещалась в шалаше, и увидел там папуаса, который был мне совершенно незнаком. Как я ни смотрел на него, но никак не мог припомнить где и когда я его видел. Я подумал, что этот незнакомый папуас пришел вместе с Туем, но Туй уже ушел. Каково же было мое изумление, когда Ульсон вдруг спросил меня, неужели я не узнаю Туя? Я снова взглянул на туземца и тот, улыбаясь, показал мне на осколки стекла и на свою верхнюю губу. Тут только я заметил, что он сбрил свои усы и часть бороды. Это так изменило его лицо, что я совершенно не мог его узнать. Губы и подбородок были отлично выбриты и он так искусно совершил эту операцию бритья, что нигде не сделал ни одной царапины. Туй совершенно самостоятельно сделал открытие, что стеклом очень удобно бриться. Я сейчас же убедился, что это возвысило в его глазах ценность разбитых бутылок, так как увидел с каким выражением удовольствия Туй принял от Ульсона в подарок несколько осколков стекла. Конечно, это может быть легко объяснено тем, что между осколками стекла и осколками кремня или кусочками разбитых раковин существует сходство, но, во всяком случае, это доказывает наблюдательность и сообразительность туземцев, желающих на опытезнакомиться с новыми предметами.

Выйдя на веранду, я сделал неприятное открытие, что крыша, над которой я потрудился часов пять, накладывая на нее сплетенные кокосовые листья, все-таки протекает. Я пришел к заключению, что виною тут не материалы и кладка листьев, а слишком малая покатость крыши. На всех островах Тихого океана строят очень высокие крыши и эта высота и крутизна главным образом и делают крыши непромокаемыми.

Туй приходил опять и опять я его вначале не узнал, до такой степени изменилось выражение его лица. Прежде

он отличался от других своей симпатичностью, а теперь производил на меня неприятное впечатление. Мне не нравилось выражение его рта. Я убедился, что усы и борода были хорошей маской.

Ночь прошла беспокойно. Бой сильно стонал, а затем начал стонать и Ульсон, у которого сделался пароксизм лихорадки. После того, как я, наконец, заснул, меня разбудил какой-то странный вой, который то приближался, то удалялся. Спросонья, я не мог дать себе отчета, что это такое. Я вышел на веранду и так как дождь прошел, то оделся и пошел к ручью. Было не слишком темно и мне вдруг пришла фантазия пойти по тропинке в Горенду и послушать вблизи пение папуасов, так как вой, который я слышал, не мог быть ничем иным, как пением туземцев.

Я сказал Ульсону, что уйду, но моя фантазия очень не понравилась ему. Он стал уверять меня, что если туземцы явятся, то непременно убьют его и Боя, так как они оба больны и защищаться не могут. Чтобы утешить его, я поставил возле его койки свое двухствольное ружье и сказал ему, что при первом же выстреле я немедленно вернусь.

Дождь хотя прошел, но было пасмурно. Благодаря луне, хотя и закрытой облаками, я все же мог осторожно пробираться по тропинке. Пение слышалось все громче по мере того, как я приближался к Горенду, но так как я очень утомился от этой прогулки в темноте, то сел на пенёк и стал прислушиваться. Пение или вой, который доносился ко мне, был очень однообразен и напев постоянно повторялся. Иногда он начинался медленно, тихо, протяжно и, постепенно нарастая, делался все громче и громче и в то же время темп все становился быстрее. В конце-концов пение переходило в какой-то почти нечеловеческий крик, который замирал вдали, внезапно обрываясь.

Я задремал, сидя на пне, и чуть было не свалился. Мне казалось, что я вижу какой-то страшный сон. Очнувшись во второй раз и чувствуя большое желание спать, я решил вернуться назад. Не помню, как я добрался до своей хижины, где тотчас же лег, даже не раздеваясь. И несколько раз, в просонках, я слышал урывками концерт папуасов.

Утром, на другой день, я наблюдал, сидя на пне, оригинальную ловлю рыбы. Был отлив. Мелкая рыба, должно быть преследуемая акулами, которых здесь не мало, металась во все стороны, выпрыгивая иногда из воды. Вдруг из-за деревьев у берега вышел Туй и стал следить за движениями рыб. Рыбы, должно быть жестоко преследуемые неприятелем, внезапно ринулись к берегу и Туй в несколько прыжков очутился около них. Вода тут была ниже колен и дно было видно великолепно. Туй сделал прыжок и одна из рыбок оказалась пойманной. Туй ловил их ногой. Он сперва придавил ее ногой и потом поднял, ухватив ее между большим и вторым пальцем ноги. Эту рыбку он положил в мешок, затем, быстро нагнувшись, схватил камень и с силой бросил его в воду. Подойдя же к тому месту, куда был брошен камень, он, стоя на одной ноге, захватил другой ногой убитую камнем рыбку. Все это было сделано им не только с большой ловкостью, но даже очень грациозно. Между тем Туй далеко уже не молодой человек. Я думаю, что ему лет 45, а может быть и больше.

Увидев меня, он тотчас же направился в мою сторону. Я бросил на землю четвертушку бумаги и показал ему жестом, чтобы он поднял ее ногой. Мне хотелось знать, может ли он так плотно прижать большой палец ко второму, чтобы удерживать лист бумаги. Он это мигом сделал и за спиной передал ногой бумагу в свою руку и вручил мне. Он проделал то же самое и с большим камнем, который поднял с земли, не останавливаясь ни на секунду.

Я каждый день вижу новых бабочек, но как-то не умею ловить их. Свободного места около моего дома немного: с двух сторон море, а с других сторон — лес.

Я не чувствую себя здоровым. Голова у меня очень тяжелая, спина болит и ноги ослабели. Бою стало значительно лучше, потому что я прорезал ему большой нарыв, что было необходимо. Я сделал эту операцию насильно, приказав Ульсону держать Боя и мигом все было кончено. А ночью я опять слышу стоны. У Ульсона сделался пароксизм лихорадки. Утром он ходил качаясь, с стеклянными глазами и осунувшимся лицом. Но меня все-таки больше беспокоит состоя-

ние Боя. У него повидимому уже нет лихорадки, однако, температура все-таки гораздо выше нормальной. Кашель, который, по его словам, существует у него уже несколько лет, стал его беспокоить теперь как будто больше. Он лежит уже две недели и почти ничего не ест. Это происходит отчасти вследствие поверья, что больному следует есть как можно меньше.

Снова приходили несколько туземцев, живущих в горах. Я заметил, что они носят меньше украшений, чем береговые папуасы. Жители деревни Бонгу тоже отличаются от береговых папуасов более небрежной прической и, как мне кажется, цвет кожи у них светлее. У них нет обычая здороваться или прощаться с близкими соседями, поэтому Туй, чаще других бывающий у нас, приходит и уходит, не говоря ни слова и не делая никакого жеста.

Пришли ко мне две партии туземцев, человек около двадцати, приехавшие на двух пирогах от деревни Богатим. Однако, мне хотелось отделаться от них поскорее, поэтому я промолчал все время, пока они оставались и только наблюдал за ними, когда они расположились вокруг кресла, на котором я сидел. Папуасы часто меняли свое положение. Они то сидели на корточках, то опускались на колени, то приседали на своих икрах. Иногда они ложились, подпирая подбородок рукой.

Ульсон принес свою гармонику и стал играть. При первых же звуках они вскочили все разом и отошли назад, но через несколько времени некоторые из них стали нерешительно подходить ближе. В общем музыка Ульсона, раздвигавшая мне уши (он играл какую-то матросскую песню), очень понравилась нашим гостям. Они выражали свое изумление и одобрение легким свистом и покачиванием из стороны в сторону. Я роздал каждому из них по полоске красной материи, которую они тотчас же повязали себе на голову. Вообще молодые люди здесь очень падки до всевозможных украшений. Для полного туалета папуасского щеголя требуется вероятно не мало времени.

Я решил ночью, что поеду рано утром один в шлюпке посмотреть очертания ближайших холмов. Я подвинулся еще

до рассвета и, напившись холодного чаю, так как мне не хотелось ждать завтрака, отправился на шлюпке вдоль берега. За береговым лесом поднимались холмы вышиной по крайней мере в 300 футов. Склоны их в некоторых местах были покрыты не лесом, а высокой травой. Я заметил в нескольких местах в горах, которые возвышались над холмами, струйки дыма, поднимавшегося от костров. Там вероятно были расположены деревни туземцев.

Утомившись после своих дневных путешествий и трудов, я лежал вечером в гамаке на веранде и отдыхал. Хотя еще не было семи часов, но было уже очень темно. Черные тучи все более и более надвигались и приближалась гроза. Молния несколько раз озаряла облака, как вдруг я почувствовал, что мой гамак сильно закачался. Затем последовал другой толчек и закачался не только гамак, но вместе с ним закачались и крыша, и стены, и столбы моего дома. Прибежавший из кухни Ульсон стал меня настойчиво спрашивать, будет ли еще землетрясение и будет ли оно сильнее или нет?

Часа через два я сидел в хижине и только-что принялся отсчитывать деления анероида, как снова почувствовал, что земля заколебалась, но гораздо сильнее первого раза и продолжительнее. Я записал свои наблюдения в метеорологический журнал и лег спать, прося Ульсона разбудить меня, если он почувствует ночью землетрясение. Сам я боялся проспать землетрясение, как это уже случилось со мною в Мексике в 1869 году, когда я проспал отлично всю ночь и узнал только на другое утро, что большинство жителей не могли сомкнуть глаз в течение всей ночи. Я же и не подозревал ничего. Но в эту ночь я проснулся, когда койка и пол снова зашатались подо мной. Все уже успокоилось, когда я услышал голос Ульсона, звавшего меня. Надо было пойти в лес и нарубить там несколько шестов. Когда я кончил эту работу и вернулся домой, то Ульсон пришел ко мне с известием, что земля все еще шатается.

— Как так?—спросил я.

Ульсон очень удивился, что я ничего не заметил и уверял меня, что много раз чувствовал незначительные толчки.

— Это не земля шатается, а ваши колени, — сказал я. — Наверное часа через полтора у вас опять будет пароксизм лихорадки.

Ульсон остался очень недоволен моими словами и действительно оказалось, что он был прав. В продолжение следующего часа я и сам почувствовал раза два или три, хотя и незначительные, но совершенно явственные колебания земли.

Скоро будет шесть месяцев, как я свел знакомство с папуасами, но они еще не видали у меня никакого оружия. Дома у меня, конечно, есть оружие, но, даже уходя в лес, я очень редко беру с собой револьвер, а если иду в туземные деревни, то не беру его никогда.

Туземцам кажется очень странной моя безоружность и они старались разузнать, не имею ли я в доме копья, лука или стрелы. Предлагали даже мне свое оружие, но я отвечал только смехом на их предложение и очень презрительным жестом отодвинул от себя их оружие, показав этим, что я в нем вовсе не нуждаюсь. Туземцев было человек двадцать и все они были вооружены. Понятно, они были озадачены моим поведением, поглядели на свое оружие, на дом, на меня и долго что-то толковали между собою. Я же оставляю их в неведении, пока это возможно.

Комары и муравьи не давали мне покоя в эту ночь. Я спал скверно. Около двух часов утра опять дом заходил и закачался. Землетрясение длилось не более полминуты, но оно было сильнее, чем то, которое происходило два дня тому назад. Ночью была сильнейшая гроза. Трудно даже представить себе те оглушительные раскаты грома и почти непрерывную молнию, которые не прекращались в течение четырех часов. Дождь падал не каплями, а лил тонкими струйками.

Ульсона опять схватила лихорадка. Пароксизм сопровождался рвотой и бредом. Трудно заниматься, когда и он и Бой больные и мне приходится самому готовить кушанье, быть врачом и сиделкой, принимать подчас назойливых посетителей-туземцев, а главное — чувствовать себя связанным и вынужденным сидеть дома! В такие дни я даже тогда должен оставаться на ногах, когда чувствую себя нехорошо и хотел бы прилечь.

На другой день, 8 ноября, снова разразилась гроза и в хижине у нас было повсюду холодно и сыро. Пришлось вставать ночью, чтобы давать лекарство больным, которые, не переставая, охали и стонали. В полдень опять было легкое землетрясение, нечто вроде дрожания земли. Чувствовалось, что горы, лес, дом и рифы дрожат под влиянием какой-то могучей силы.

Следующее утро было сырое и свежее, всего 22° Цельсия. Я оделся тепло и пил чай на веранде, когда явился Туй. Он тоже ощущал свежесть температуры, но, не имея подходящего костюма, принес с собой свою переносную печь, состоявшую из толстого тлеющего полена. Подойдя ближе, он сел у веранды. Курьезно было смотреть, как он грелся у этого полена. Он переносил его от одной стороны тела к другой и то держал у груди, то клал, сперва у одного, потом у другого бока или же помещал его между ногами, смотря по тому, какая часть тела казалась ему более озябшей.

Вскоре пришли еще несколько жителей деревни Бонгу. Среди них находился один человек, низенького роста, с диким и вместе робким выражением лица. Он не решался подойти ко мне, поэтому я сам пошел к нему. Он хотел было бежать, но его остановили другие. Посмотрев на меня, он долго смеялся, а потом начал прыгать, стоя на одном месте. Очевидно, вид первого белого человека привел его в такое странное состояние. Жители Бонгу старались об'яснить мне, что этот человек пришел из очень дальней деревни, называемой Марагум и лежащей в горах. Сюда он явился с целью посмотреть на меня и на мой дом. Все пришедшие имели при себе, по случаю холодного утра, свои „согреватели“. У некоторых вместо полена был аккуратно связанный пук тростника. Присев перед моим креслом, они сложили свои головни в тростник, в виде костра, и принялись греться около огня.

Я уже раньше замечал, что туземцы носят с собой головни с целью иметь возможность, во время перехода из одного места в другое, зажигать свои сигары.

Немного позже явилась еще партия туземцев из Гумбу. Они тоже привели с собой своих гостей из Марагум-Мана,

которые заинтересовали меня, как жители гор. Тип у них был совершенно одинаковый с приморскими жителями, но цвет кожи был светлее, чем у моих соседей. Жители Марагум-Мана были приземистые, но хорошо сложены, с развитыми икрами. Я им роздал подарки и они ушли очень довольные, не переставая удивляться моим домом, креслом и моим платьем.

В 5 часов опять началась гроза, пошел дождь, сырость, и я вынужден был сидеть дома и кутаться. Дождливые дни особенно неприятны для меня. Моя келья очень мала и служит мне одинаково и спальней, и складочным местом. Когда нет дождя, то я провожу целые дни снаружи и собственно мое жилище составляют разные уголки на площадке вокруг моего дома. Здесь находится моя приемная с несколькими бревнами и пнями, на которых могут располагаться мои посетители. Там, в тени, с далеким видом на море, мой кабинет с покойным креслом и со складным столом. Тут было также специальное место, предназначенное мною для столовой.

Я нахожу, что туземцы народ практичный. Они предпочитают полезные вещи разным безделушкам. Ножи, топоры, гвозди, бутылки и т. п. они ценят гораздо больше, нежели бусы, зеркала и тряпки, которые они, конечно, принимают с удовольствием, но никогда не выпрашивают их у меня, как это они делают относительно других полезных вещей.

Однако, до сих пор мне трудно победить их недоверчивость. Как-то они с большим интересом рассматривали мой нож. Я показал им еще два больших ножа в полтора фута длиной, и, шутя и смеясь, дал им понять, что я отдам им эти два больших ножа, если они оставят жить у меня маленького папуаса, который пришел с ними. Они переглянулись с очень встревоженным видом, быстро переговорили между собой и затем что-то сказали мальчугану, после чего он бегом бросился в лес. Туземцев было более десятка и все они были вооружены, но кажется они все-таки очень боялись, что я захвачу ребенка. А между тем, это были люди, которые очень часто посещали меня и как будто освоились со мной!

А вот другой пример: приходят ко мне человека три или четыре невооруженные. Однако, я уже наперед знаю, что недалеко в кустах они оставили еще одного или двух человек с оружием, которые должны подоспеть к ним на помощь в случае нужды. Обыкновенно туземцы стараются скрыть от меня, что они приходят вооруженные. О туземных женщинах я ничего не могу сказать. Прожив здесь полгода, я еще ни одной не видел вблизи. Они всегда убегали от меня, как от дикого зверя.

По ночам здесь гораздо шумнее, чем днем. С полудня, до трех или четырех часов, никого не слышно кроме кузнециков и немногих птиц; с заходом же солнца начинается самый разноголосый концерт: кричат лягушки, цикады, ночные птицы и к ним примешиваются голоса разных животных, которых мне еще не удавалось видеть. Почти каждый вечер аккомпаниментом к этому концерту являются раскаты грома, который днем раздается редко. Ночью и прибой на рифах слышится яснее. Ко всему этому присоединяется еще и назойливое жужжание комаров, а подчас издали долетает завывание папуасов, заменяющее у них песни. Однако, несмотря на всю эту музыку, мне все-таки спится хорошо.

Здесьние туземцы еще не дошли до изобретения письма. У них существует только одно слово, обозначающее „писать“ или „рисовать“. Когда я что-нибудь записываю, они говорят: „Маклай негрэнгва“. Если я срисовывал кого-нибудь из них, то они тоже говорили: „негрэнгва“. Показываю им печатную бумагу,—это тоже „негрэнгва“. Объясняя друг другу пользу маленького гвоздя для вычерчивания узора на бамбуковом футляре для извести, они тоже говорили „негрэнгва“.

Туземцы очень приставали ко мне, чтобы я пожевал с ними бетель, но я не соглашался, вспомнив, что уже раз попробовал это, но обжег себе язык негашеной известью, которой примешал к бетелю слишком много.

Дни идут по-старому. Утром я естествоиспытатель, собираю насекомых и записываю свои наблюдения, а затем, если мои люди больны, то я становлюсь поваром, врачом, аптекарем, маляром, портным и даже прачкой. Вообще я на

все руки, но и всем рукам дела много. Я очень терпеливо учусь туземному языку, по все еще мало понимаю и скорее догадываюсь, что туземцы хотят сказать. Говорю же я еще очень мало.

Жители соседних деревень, повидимому, начинают меньше чуждаться меня. Дело идет на лад и моя политика терпения и ненавязчивости оказывается вполне верной. Не я хожу к туземцам, а они сами приходят ко мне. Не я прошу их о чем-нибудь, а они просят меня и даже начинают ухаживать за мной. Вообще они становятся все более и более ручными, приходят, сидят долго, а не стараются, как прежде, выпросить что-нибудь и затем поскорее улизнуть со своей добычей.

Одно мне досадно, что я еще так мало знаю их язык. Я убежден, что знание языка—это единственное средство окончательно победить их недоверие, также единственный путь к ознакомлению с туземными обычаями, по всей вероятности, очень интересными. Мне удобнее учиться дома туземному языку, нежели посещая деревни папуасов. Обыкновенно, во время моих посещений, они бывают так возбуждены и беспокойны, что их трудно заставить усидеть на месте. Но когда они приходят ко мне, то у них пропадают малейшие признаки нахальства. Они терпеливо отвечают на мои вопросы и позволяют рассматривать, мерить и рисовать себя.

Я хотел собрать образцы волос туземцев, но это было не так легко сделать. Уморительно было смотреть, с каким страхом отскочил Туй, когда я поднес ножницы к его голове. Он готов был бежать и не подходил ко мне все время, пока я держал ножницы. Я задумался над тем, как победить нежелание Туя, который был самым ручным из всех моих знакомых туземцев. Если уж он боится, то что же будут делать другие, более дикие, чем он? И вот мне пришло в голову предложить ему в обмен на его волосы пучок моих волос. Это подействовало и мы обменялись волосами. Пока я завертывал его волосы в бумагу и делал на ней надпись, Туй также тщательно завернул мои волосы в лист, который он сорвал недалеко в лесу. Путем такого обмена своих волос на волосы туземцев мне удалось увеличить свою коллекцию.

Но в один прекрасный день Ульсон заметил мне, что я выстриг себе всю левую половину головы. Это было забавно. Произошло это оттого, что, держа ножницы в правой руке, мне легче было срезать волосы на левой стороне головы.

Раз, гуляя по лесу, я забрел так далеко, что чуть было не заблудился. Однако, к счастью, я все-таки набрел на такую тропинку, которая вывела меня к морю. Там уже мне не трудно было отыскать дорогу домой. Случилось это около деревни Мале, но я туда не пошел, а отправился в деревню Бонгу. Но мне не удалось дойти до этой деревни. Было уже совсем почти темно, когда я добрался до деревни Горенду и решил там переночевать, к великому удивлению туземцев. Придя в деревню на площадку, я прямо направился в „Буамрамру“ — так называются в туземных деревнях большие хижины, особенным образом построенные и назначенные исключительно для мужчин. Я сделал это, чтобы как можно меньше стеснять туземцев, так как знал, что мое посещение взбудоражит всех жителей деревни. Действительно, послышались возгласы женщин и плач детей. Пришедшему Туя я об'яснил, что хочу спать у него. Он что-то много говорил мне. Кажется он сказал мне, что проводит меня при свете факела и говорил что-то о женщинах и детях. Но я почти не понимал его и чтобы отделаться от него, лег на „барлу“ — род длинных нар с большими бамбуками вместо подушек и, закрыв глаза, повторял: „няварь, няварь“, что значит на туземном языке: „спать, спать“. — У меня с собой не было часов, но хотя еще было не поздно, я все же так утомился своей многочасовой прогулкой, что вскоре задремал, а затем крепко заснул. Проснулся я вероятно от холода, так как спал не покрытый ничем, а ночной ветер продувал меня насквозь, потому что в Буамрамру нет дверей, ни спереди, ни сзади. Я не ел ничего с одиннадцати часов утра и потому чувствовал голод. В Буамрамре, где царил полумрак, не было никого, кроме меня. Я встал и вышел на площадку к костру, вокруг которого сидело несколько человек туземцев. Между ними находился и Туй. Я обратился к нему, указал ему на свой рот и несколько раз повторил слово „уяр“ (есть). Туй понял меня и тотчас

же принес мне небольшое деревянное овальное блюдо, которое называется „Табир“, с кушаньем: кусками холодного „таро“ и вареных бананов. Таро готовится из растения Бау, составляющего главную пищу туземцев с марта по август. Бау сажают в октябре и едят его как в вареном, так и в печеном виде. Отваренный корень бьют небольшой деревянной колотушкой и смешивают с наскобленным кокосовым орехом. Получается род теста, которое разделявают в виде пирогов. На пирах это считается лакомством. Листья этого растения также употребляются в пищу.

Я с'ел с удовольствием несколько кусков таро, несмотря на отсутствие соли, но бананы оказались мне безвкусными. Сон, хотя и короткий, однако, освежил меня, а затем пища подкрепила меня, так что я решил вернуться домой и поэтому предложил двум молодым туземцам проводить меня с факелами. В ночной темноте, без огня, невозможно найти дорогу домой.

Туземцы поняли мое желание и мне кажется они даже были довольны, что я не остаюсь ночевать. Мигом сделали они несколько факелов из сухих пальмовых листьев, которые связываются для этой цели особенным образом, взяли каждый по копью и мы отправились. Лес, освещенный ярким светом горящих сухих листьев, казался еще фантастичнее и красивее, чем днем. Я невольно любовался быстрыми и ловкими движениями моих спутников. Они держали факел над головой, а копьем отстраняли местами нависшие ветви лиан, преграждавшие нам путь. Один из туземцев шел за мной. Оглянувшись на него, я как-то невольно подумал: как легко было бы этому туземцу проткнуть меня сзади копьем! Я был невооружен, по своему обыкновению, и туземцам это обстоятельство было хорошо известно. Однако, со мной ничего не случилось и я дошел цел и невредим до своего дома, где и был встречен крайне встревоженным Ульсоном, почти уже потерявшим надежду увидеть меня в живых.

Как-то вечером пришел Туй. Он захотел выказать мне свое доверие и попросил позволения переночевать у меня. Я согласился. Уходя, он сказал, что придет позднее. Однако, время шло и я думал, что он уже не вернется, поэтому я

лег на свою койку, когда вдруг услышал голос, зовущий меня. Я вышел и увидел Туя. Освещенный лунным светом, он имел очень эффектный вид. Его темное, но хорошо сложенное тело, очень красиво вырисовывалось на более темном фоне зелени. Одной рукой он опирался на копье, а в другой, опущенной, держал догорающее полено, освещавшее его с одной стороны красноватым отблеском. Плащ или накидка из грубой „тапы“—материи, приготовляемой из древесной коры,—спускалась у него с плеч до самой земли. Он стоял передо мной, спрашивая, где ему лечь? Я указал ему на веранду, где он может провести ночь и дал ему циновку и одеяло, которыми он остался повидимому очень доволен.

Туй улегся. Это было около десяти часов. В половине двенадцатого я встал, чтобы посмотреть на термометр. Луна ярко светила. Я взглянул на веранду, но Туя уже там не было, а на его месте лежали только свернутая циновка и одеяло. Очевидно, голые нары его хижины были ему больше по вкусу, чем моя веранда с циновкой и одеялом!

Я пристрелил одну из птичек, которые так громко кричат на высоких деревьях около дома. Туземцы называют их „Коко“, потому что она кричит „Коко-ниу-кай“ и звук „Коко“ в крике этих птиц выделяется особенно ясно.

Дни проходят, а мое изучение туземного языка очень туго подвигается вперед. Самые употребительные слова остаются неизвестными, я не могу придумать, как узнать их. Я даже не знаю как на туземном языке такие простые слова: да, нет, дурно, хочу, холодно, отец, мать... Это смешно, но это так. Начнешь спрашивать, объяснять,—не понимают или не хотят понять. Все, на что я не могу указать пальцем, остается мне неизвестным, и я только случайно узнаю то или другое слово.

Сегодня, 27-го ноября, полнолуние и двое молодых людей из соседних деревень заходили сюда раскрашенные красной и белой краской, убранные зеленью и цветами. Они зашли по дороге в Гумбу, где должны провести ночь. У туземцев, как я заметил, в полнолуние бывают особенные собрания. Они делают в это время визиты друг другу, т.-е. жители одной деревни посещают жителей другой. Конечно, они всегда

еще больше разукрашивают себя и в такие ночи песни их доносятся к нам в виде пронзительного и протяжного воя. Так было и в прошлую ночь. Ульсон разбудил меня, спрашивая, слышал ли я крики и все ли ружья у меня заряжены? Я не успел ему ответить, как из леса, по направлению к деревне Горенду, послышался очень громкий, пронзительный крик, в котором, однако, можно было распознать человеческий голос. Крик был очень странный, и принадлежал, вероятно, многим голосам. Ульсон сказал мне, что последние пять минут он слышал уже несколько подобных звуков. Первый из них был так громок и пронзителен и показался ему до того странным, что он решил разбудить меня. Он подумал, что этот крик может быть является сигналом к нападению на нас. Я встал и вышел на площадку. Из многих деревень неслись однообразные удары „барума“ (род барабана). Полная луна только-что величественно выплыла из-за деревьев и я сейчас же подумал, что слышанные нами крики обозначали приветствие восхода луны. Я вспомнил, что при появлении луны туземцы вскрикивали каким-то особым образом и поэтому успокоил Ульсона, посоветовав ему не ждать нападения на нас, а попросту лечь спать. Я сам исполнил это и заснул немедленно.

Третьего декабря я ходил в деревню Горенду за кокосами. По обыкновению, я предупредил о моем приближении громким свистом, для того, чтобы женщины имели время попрятаться. На меня эта деревня всегда производила приятное впечатление. Все в ней так чисто, зелено, уютно. Людей там немного. Они не кричат и не производят теперь никаких шумных демонстраций при моем появлении, как это было раньше. Покой и тишина нарушаются только птицами, перелетающими с дерева на дерево. На высоких барлах важно восседают на корточках двое или трое туземцев, изредка перекидываясь словами или молча разжевывая кокосовый орех или же очищая „дегарголь“ (сладкий картофель). Иные заняты в своих хижинах, другие же, ничего не делая, греются на солнышке или расципывают свои волосы.

Придя в Горанду, я также уселся на „барлу“ и также занялся свежее испеченным дегарголем. Человек восемь собра-

лось около барлы, на которой я сидел, и каждый по очереди стал высказывать мне свои желания. Одному хотелось иметь большой гвоздь, другому—кусоч красной тряпки. У одного из туземцев болела нога и он просил у меня пластыря и башмак. Я молча выслушал их всех. Когда они кончили, то я сказал, что хочу иметь несколько зеленых кокосов. Сейчас же двое мальчуганов, накинув петли себе на ноги, быстро поднялись на кокосовую пальму и стали бросать кокосы вниз. Я показал пальцами, сколько кокосов мне надо и предложил им отнести их в „Таль-Маклай“, т.-е. в дом Маклая, что и было немедленно исполнено.

Когда я вернулся домой к вечеру, началась гроза. Ветер много раз задувал лампу. Тут иногда поневоле приходится ложиться спать, так как всякое занятие постоянно прерывается необходимостью зажигать потухающую от ветра лампу. Скважин, щелей и отверстий всякого рода так много в моем помещении, что защититься от сквозняка нечего и думать. Теперь, с восьми или девяти часов вечера, идет дождь, который начался при заходе солнца и вероятно продлится до утра. В октябре была еще сносная погода, в ноябре дожди стали чаще, а в декабре дождь, повидимому, имеет намерение итти каждый день. Дождь барабанит по крыше, которая протекает во многих местах, но так как я лежу на койке, покрытый сверх одеяла еще и непромокаемым плащем, то по ночам я не обращаю внимания на дождь.

Бой лежит, не вставая, второй месяц. Но и Ульсон болеет второе чаще меня и сегодня вечером мне пришлось, несмотря на дождь, готовить чай для нас троих. В темные дождливые ночи это не так просто. Надо было, под сильным дождем, пройти в шалаш, набрать там по возможности сухих ветвей, наколоть их, зажечь потухший от дождя костер, долго раздувать его и потом, так как не оказалось достаточно воды в чайнике, надо было в темноте и под дождем спуститься к ручью. При этом было так темно, что, хорошо зная дорогу, я все же чуть было два раза не упал, сбившись с пути. Приходилось каждый раз ждать молнии и только при ее блеске я мог снова попадать на знакомую тропу. Было бы бесполезно брать с собой фонарь при таком дожде

и порывах ветра. Когда я, наконец, вернулся, промокнув до костей, то мое крохотное жилище показалось мне очень уютным. Я поспешил переодеться и наслаждался чаем, который казался мне особенно вкусным в этот день. Надо заметить, что вот уже второй месяц, как у нас нет сахара и недель пять тому назад мы выбросили последние сухари, которые из'ели вместо нас черви. Мы долго боролись с червями, старались высушить сухари, сперва на солнце, потом на огне, но ничто не помогло и черви остались победителями. Я заменил сухари печеными бананами, а когда бананов не было, то ломтиками печеного таро. В сущности я не страдаю от этой перемены, но Ульсон, и даже Бой, оба ворчали, когда кончился сахар. В остальной пище нет разнообразия, она всегда одинакова: вареный рис с к'ери и бобы с солью. Но мне даже нравится это однообразие. Кроме того, все эти неудобства и мелочи сглаживаются возможностью делать кое-какие научные наблюдения, а природа здесь так хороша!.. Впрочем, природа хороша везде, умей только ею наслаждаться.

Вот пример: полчаса тому назад, когда мне пришлось отправиться к ручью за водой, я был в самом мерзком настроении духа под влиянием утомления от раздувания костра, дым которого до слез раз'едал мне глаза. Когда, наконец, костер разгорелся, я вдруг заметил, что в чайнике было мало воды. Пришлось идти к ручью. Было совершенно темно и мокро. Ноги скользят, то и дело оступаешься, а дождь пронизывает меня насквозь и мне становится холодно. Я отступаюсь, хватаясь за куст, который больно колется. Вдруг сверкает яркая молния, освещает все своим голубоватым блеском: и далекий горизонт, и белый прибой на берегу, и капли дождя,—весь лес, каждый листик, даже шип, который только-что уколол мне руку! Но через секунду опять все черно и мокро и неудобно! Однако, и этой секунды было достаточно, чтобы красотой окружающего вернуть мне мое обычное хорошее расположение духа, которое редко покидает меня, если я нахожусь среди красивой природы и если возле меня нет надоедливых людей.

Однако, уже девять часов! Лампа догорает. Чай допит и от капающей везде воды становится очень сыро в моей

келье. Надо завернуться скорее в одеяло и продолжать свое дальнейшее существование во сне...

Бой очень страдает; я не думаю, что он проживет долго. Он так слаб, что почти не держится на ногах. Бедняга упал, сходя с лестницы. Ульсон в это время лежал и охал, закрывшись одеялом с головой. Когда я заметил упавшего Боя возле лестницы, то кое-как втащил его в комнату. Но он был в каком-то забытии и не узнавал меня.

Приходил Туй и, сидя у меня на веранде, сообщил, между прочим, с очень серьезным видом, что Бой скоро умрет, а Виль (туземцы называют Ульсона Вилем) болен и что Маклай останется один. При этом он поднял один палец и продолжал, показывая на обе стороны: „Придут люди из Бонгу и Гумбу (при этом он указывал на все пальцы рук и ног) много, много людей, придут и убьют Маклая! Он даже показал, как мне проколят копьем шею, грудь, живот и нараспев печально приговаривал: „О, Маклай! О, Маклай!...“

Я сделал вид, что отношусь к этим словам, как к шутке, хотя сам я считал это вполне возможным. Я сказал ему, что ни Бой, ни Виль, ни Маклай не умрут, но Туй, поглядывая на меня как-то недоверчиво, продолжал приговаривать жалобным голосом: „О, Маклай! О, Маклай!...“

Мне этот разговор показался интересным, во-первых, потому, что это может действительно случиться, а во-вторых, потому, что, по всей вероятности, мои соседи толковали об этом на-днях, иначе Туй не поднял бы теперь старого вопроса о моем убиении.

Скучно то, что нужно быть вечно настороже. Впрочем, это мне не мешает спать. Пришло еще человек восемь туземцев из Горенду и Мале. Я был в хорошем расположении духа и потому дал по подарку каждому гостю, хотя они сами не принесли мне ничего. Туй и Лали спросили меня вдруг, придет ли когда корвет? Разумеется, я не мог дать им определенного ответа и не знал, как выразить большое число на туземном языке. Желая увидеть, как мои соседи считают, я взял несколько полосок бумаги и стал резать их поперек. Нарезал сам не знаю сколько и передал целую пригоршню таких полосок одному из туземцев Мале, сказав,

что каждая бумажка означает два дня. Вся толпа туземцев немедленно его обступила. Мой папуас стал считать по пальцам, но должно быть неладно, потому что другие папуасы решили, что он не умеет считать и обрезки бумаги были переданы другому. Этот принялся с важностью считать и еще позвал на помощь товарища, так что они стали считать вместе. Первый папуас, раскладывая кусочки бумаги на колене, при каждом обрезке повторял: „наре“ „наре“, — что значит: „один, один“. Другой туземец повторял это слово и загибал при этом палец, сначала на одной, потом на другой руке. Насчитав до десяти и согнув пальцы обеих рук, он опустил оба кулака на колени и проговорил: „две руки“, а третий папуас загнул один палец руки. Со вторым десятком было проделано то же самое, причем третий папуас загнул второй палец руки. То же повторилось и для третьего десятка. Оставшиеся бумажки не составили четвертого десятка и потому их отложили в сторону.

Мне кажется все остались довольны результатом. Но я опять смутил их. Взяв один из обрезков, я показал два пальца, прибавив: „бум-бум“ (день, день). Опять они начали толковать между собой, но порешили тем, что завернули обрезки в лист хлебного дерева и тщательно перевязали его, вероятно для того, чтобы потом пересчитать их в деревне.

Я с большим интересом следил за этой процедурой. Но мне очень неприятно недоверие папуасов и какая-то боязнь, которую я, повидимому, внушаю им. Пока они будут не доверять мне, я ничего не добьюсь от них. Бой вряд ли проживет еще много дней, а Ульсон такой трус, что при нем туземцы все могут разграбить и сжечь дом. Как только я научусь побольше туземному языку, то перестану сидеть дома. Но предварительно я закопаю кое-какие инструменты и письменные принадлежности, так как думаю, что в земле они будут сохраннее, чем в доме под защитой одного только Ульсона.

Вчера вечером, 8-го декабря, мимо моего мыска проезжали две пироги с огнем. Ночь была тихая и очень темная. Мне вдруг пришла фантазия зажечь бенгальский огонь. Эффект получился необычайный и на папуасов это произвело

должно быть потрясающее впечатление. Все факелы были брошены в воду и, когда бенгальский огонь потух, то все пироги исчезли.

Бой очень плох. Ульсон начинает поговаривать, что хорошо бы выбраться отсюда. Но я ему ответил, что не просил его отправляться со мной в Новую Гвинею и даже в день ухода корвета я предлагал ему вернуться на судно, а не оставаться со мной! Ульсон каждую ночь ожидает, что придут туземцы и перебьют нас. Туя он ненавидит, считая его шпионом.

Недавно, в начале ночи, часу в двенадцатом, меня разбудил от крепкого сна шум множества голосов, а затем яркий свет у самого спуска от площадки к морю. Вероятно к нам приближались или уже приблизились несколько пирог. Ульсон завопил: „идут! идут!“ Я вышел на веранду и был встречен ярким светом факелов и шестью туземцами, которые были вооружены стрелами и копьями и беспрестанно звали меня по имени. Я не двинулся с места, недоумевая, что им от меня нужно. Ульсон же, вооруженный ружьем, подошел сзади и совал мне в руки двухстволку, приговаривая: „не пускайте их итти дальше!“ Я знал, что один выстрел ружья, заряженного дробью, обратит в бегство большую толпу туземцев, еще не знакомых с действием огнестрельного оружия, поэтому я был совершенно спокоен. Притом же мне казалось, что я узнаю знакомые голоса. В самом деле, когда я сказал им: „гена“ (иди сюда), то они высыпали на площадку перед верандой. Каждый из них, придерживая левой рукой свое оружие и факел и вопя: „нии! нии!“ протягивал мне правую руку с несколькими рыбками. Я сказал тогда пристыженному Ульсону, чтобы он собрал рыбу, которую ему давно хотелось иметь. Группа же вооруженных дикарей, освещенных яркими факелами, заставила меня пожалеть, что я не художник, до такой степени она была живописна. Спускаясь к своим пирогам, они долго кричали мне на прощанье: „Эме-ме, эме-ме“, а затем быстро скрылись за мыском. Рыба оказалась очень вкусной.

Поднявшись рано утром 13-го декабря, я решил, в виду всяких возможностей, приготовить все, чтобы зарыть в землю,

в случае необходимости, мой дневник, метеорологический журнал, заметки и рисунки, а также чистую бумагу, на случай если я уцелею, а хижина будет сожжена или разграблена. Туй показался мне сегодня действительно подозрительным и поведение его смахивало на шпионство. Он обходил кругом, осматривая внимательно нашу хижину и заглядывал с большим интересом в комнату Ульсона, причем несколько раз повторял: „о, Бой! о, Бой!“ Затем он подошел ко мне и начал приставать, чтобы я отпустил Боя в Гумбу. Он мне так надоел, что я ушел в комнату и этим заставил уйти и его. К полудню я почувствовал легкий пароксизм, выразившийся в очень томительной зевоте и чувстве холода и подергивания во всем теле. Я оставался на ногах все утро, находя, что при таких условиях лучше лечь лишь в случае самой крайней необходимости.

Приехало трое туземцев из Горенду. Один из них заглянул в комнату Ульсона и, не слыша стонов Боя, спросил, жив ли он? Я отвечал утвердительно. Туземцы снова стали предлагать мне взять Боя с собой. Не понимаю, на что он им нужен? Они не могут ведь бояться его, как противника. Но может быть они хотят приобрести в нем союзника? Впрочем, теперь уже поздно...

Смерть Боя.

После обеда Ульсон пошел на берег, чтобы убрать нашу шлюпку, которой угрожал громадный ствол, принесенный приливом, а я вернулся домой, чтобы заняться письменной работой. Но стоны Боя заставили меня бросить работу и заглянуть в его комнату. Несчастный катался по полу, скорчившись от боли. Я взял его на руки, как ребенка, — он так сильно исхудал за последнюю неделю, — и положил его на койку. Его холодные, потные, костлявые руки, охватившие мою шею, побелевшие губы, нос и ввалившиеся глаза, ясно указывали, что он не долго будет стонать. Его холодные руки удерживали мои руки. Он как будто хотел мне что-то сказать, но не мог. Пульс был слаб, иногда прерывался и конечности заметно холодели. Уложив его, я спустился к берегу, где Ульсон возился с нашей шлюпкой, и сказал ему, что Бой умрет часа через полтора или два. Известие это потрясло Ульсона, хотя мы оба уже ожидали этой смерти недели две и не раз даже говорили об этом. Мы вместе вошли в комнату. Бой метался на полу, ломая себе руки. Жалко было смотреть на него, так он страдал! Я достал из аптеки хлороформ и, налив несколько капель на вату, поднес ее к носу умирающего. Минут через пять он стал успокаиваться и даже пробормотал что-то; ему видимо стало лучше. Я отнял вату. Ульсон стоял совершенно растерянный и спрашивал, что теперь делать? Я коротко объяснил ему, что тело Боя мы бросим сегодня ночью в море, а теперь он должен набрать несколько камней и положить их в шлюпку, чем больше, тем лучше, для того, чтобы тело сейчас же пошло ко дну. Я сам пошел к шлюпке,

чтобы видеть, все ли будет сделано, как следует. Вернувшись затем домой, я зашел к Бою и нашел его уже мертвым. Он умер, пока мы ходили к ручью за камнями и умер так же молча, как лежал все время в течение своей болезни. Бой лежал в том же положении, в каком он обыкновенно спал или сидел, поджавши ноги и скрестив руки. Ульсон был очень растроган, несмотря на то, что при жизни Боя, постоянно бранил его и дурно отзывался о нем. Мы оба как-то невольно говорили очень тихо, точно боясь разбудить умершего. Мне очень хотелось распилить череп Боя и сохранить его мозг для исследования, но Ульсон испугался и стал упрашивать меня этого не делать. Ожидая, что туземцы действительно могут каждый час явиться с серьезными намерениями, я отказался от желания добыть мозг полинезийца, по все же вырезал у него гортань с языком и всей мускулатурой, вспомнив обещание, данное мною моему прежнему учителю, профессору Г., живущему в Страсбурге, прислать ему препарат гортани темнокожего человека. Ульсон, дрожа от страха, держал свечку и голову умершего, пока я производил эту операцию. Когда же рука мертвеца сделала небольшое движение в то время, как я перерезал мускулы, то Ульсон так испугался, вообразив, что я режу живого человека, что уронил свечу и мы остались в темноте. Наконец, все было кончено и теперь надо было препроводить труп Боя в его сырую могилу, но сделать это надо было так осторожно, чтобы соседи наши ничего не знали о случившемся.

Мы понесли тело умершего вниз к шлюпке в темноте и вследствие этой темноты Ульсон оступился и упал. Мертвое тело, положенное в два больших мешка, упало на него, а вслед за ним упал и я. Но мы не могли сразу найти нашу ношу, так как она скатилась удачнее нашего, прямо на песок. Отыскав труп, мы наконец опустили его в шлюпку и вложили в мешок еще пуда два камней. Все это было очень трудно делать в темноте. Как на зло был отлив. Нам стоило больших усилий стащить тяжелую шлюпку в воду по камням. Не успели мы взяться за весла, как перед нами, в одной четверти мили, мелькнул из-за мыса один, затем

второй, третий и десятый огонек. То были одиннадцать пирог, которые приближались в нашу сторону. Туземцы непременно заедут к нам, а если увидят шлюпку, то под'едут близко к ней. Их горящие факелы осветят длинный мешок, который возбудит их любопытство. То, чего я опасался, казалось сейчас наступит. Туземцы узнают о смерти Боя.

— Нельзя ли Боя спрятать в лес, — предложил Ульсон,

— Но теперь, с камнями и телом, мешок был слишком тяжел для того, чтобы мы могли протащить его между деревьями. Притом же туземцы должны были скоро под'ехать сюда.

— Будем грести сильнее, — сказал я, — может быть мы ускользнем.

Но шлюпка не подвигалась, несмотря на наши усилия. Должно быть мы попали на риф или на мель. Папуасы приближались. Мы изо всех сил принялись отталкиваться веслами, но безуспешно. Я готов был прыгнуть в воду, чтобы удобнее спихнуть шлюпку с мели, не взирая даже на присутствие многочисленных акул. Но тут мне пришла в голову счастливая мысль осмотреть борт нашей шлюпки и моя рука тотчас же наткнулась на препятствие. Оказалось, что канат, которым шлюпка с кормы прикреплялась к берегу, застрял между камнями и запутался между сучьями, валявшимися у берега, а мы не заметили этого второпях. Он-то и не отпускал нас теперь. Я быстро схватил нож и, перерезав веревку, освободил шлюпку. Мы взяли за весла и начали с силой грести.

Туземцы, как и вчера, выехали на рыбную ловлю и огни их сверкали все ближе и ближе. Можно было даже расслышать голоса, но мы старались как можно тише окунать весла в воду, чтобы не возбудить внимания туземцев. Если они увидят Боя с перерезанным горлом, то скажут, что мы убили его и, пожалуй, убьют нас, заметил Ульсон. Я тоже не особенно желал встретиться в эту минуту с туземцами. Всех туземцев на пирогах было 33 человека и все они были вооружены копьями и стрелами и, сознавая свое превосходство сил, они могли очень хорошо воспользоваться обстоятельствами. Впрочем, и у нас были шансы на спасение: два наших револьвера могли обратить в бегство всю эту толпу. Мы гребли

молча и отсутствие огня на шлюпке было вероятно причиной, что нас не заметили, так как факелы на пирогах освещали ярко только ближайшие предметы вокруг них. Туземцы же были усердно заняты рыбною ловлей.

Ночь была тихая и очень темная и от огней на пирогах шли длинные столбы отблеска на спокойной поверхности моря. Каждый взмах весел вызывал тысячи искр. При таком спокойном море его поверхностные слои полны богатой и разнообразной жизнью. Я залюбовался этой картиной и совсем забыл о покойнике в шлюпке и о необходимости скорее похоронить его. Ульсон прервал мои думы, радостно заметив, что пироги удаляются от нас и что никого из нас туземцы не видели. Мы теперь спокойно продолжали путь и, отойдя приблизительно на милю от мыса, опустили труп Боя за борт. Он быстро пошел ко дну, но я убежден, что десятки акул уничтожат его вероятно в эту же ночь.

На другой день я сказал Ульсону, чтобы в случае прихода туземцев он не заикался о смерти Боя. Действительно, Туй не замедлил явиться в сопровождении двух туземцев, которых я не знал. Один из них вздумал подняться на первую ступеньку лестницы, но когда я указал ему, что его место на площадке перед домом, а не на лестнице, то он быстро соскочил с нее и сел на площадке. Туй снова заговорил о Бое и с жаром уверял, что если я отпущу Боя в Гумбу, то туземец, которого он привел с собой непременно вылечит его. Я отвечал ему отрицательно. Чтобы отвлечь их мысли от Боя, я придумал следующий опыт. Я взял блюдечко, вытер его до суха и, налив туда немного спирта, поставил его на веранду. Позвав туземцев, я взял стакан воды, сам отпил из него и дал попробовать одному из туземцев, который также убедился, что это была вода. Все они с величайшим интересом следили за моими движениями. Прилив из стакана несколько капель воды к спирту на блюдечке, я зажег спирт. Впечатление было сильное. Туземцы полуоткрыли рот и, со свистом втянув воздух, подняли брови и отступили шага на два. Я брызнул тогда из блюдечка горящий спирт на лестницу и на землю и он продолжал гореть. Туземцы отскочили, боясь, что я и на них брызну огнем и казалось были так

поражены, что немедленно убрались, как бы опасаясь увидеть что-нибудь еще более страшное. Но минут через десять они снова появились и на этот раз их была целая толпа. Тут были жители Бонгу, Били-Били и острова Кар-Кара. Эта толпа была очень интересна. Тут были люди всех возрастов и на всех было праздничное убранство и многочисленные украшения, материал которых определялся местом их жительства. Мои соседи, мало занимающиеся рыбной ловлей, носили украшения преимущественно из цветов, листьев и семян, между тем как на жителях островов Били-Били и Кар-Кара, живущих у открытого моря и занимающихся ловлей морских животных, были украшения из раковин, костей рыб, черепах и т. п.

Жители Кар-Кара представляли еще ту особенность, что все тело их, и главным образом голова, было вымазано черной землей, так что с первого взгляда можно было подумать, что цвет их кожи в самом деле совершенно черный. У некоторых же из них была окрашена только одна голова. Жители же Бонгу были вымазаны красною охрой и в волосах, за перевязями на руках и под коленями, у них были воткнуты красные цветы. Всех туземцев было не менее 40 человек и среди них было 3—4 человека, отличающихся положительно красивыми лицами. Прическа каждого из них представляла какое-нибудь отличие от остальных. Волосы у них были окрашены самым различным образом, то черной, то красной краской и в них были воткнуты гребни, украшенные цветными перьями разных попугаев, казуара, голубей и белых петухов. У многих туземцев Кар-Кара мочка уха была оттянута в виде петли значительных размеров.

Туземцы пробыли более двух часов. Они все уже слышали от Туя о горячей воде и всем хотелось видеть ее. Туй упрашивал показать всем „как вода горит“.

Когда я исполнил эту просьбу, то эффект получился неопределимый: большинство бросилось бежать, прося меня „не зажечь моря“. Многие остались стоять; вероятно они не в состоянии были двинуться с места от изумления и, испуга. Они стояли как вкопанные, оглядываясь кругом с выражением крайнего удивления. Уходя, они все наперерыв приглашали меня к себе в гости и мы расстались друзьями. Остались

только несколько туземцев из Били-Били и Кар-Кара, у которых были гнойные раны на ногах. Целые стаи мух летали за ними и облепляли раны, как только они переставали отгонять их. Конечно, это очень мучило их и надоедало им. Они просили меня дать им „гаре“ (кожу), чтобы покрыть раны. Разумеется, я не мог этого сделать, но все-таки облегчил их. Обмыв раны раствором карболовой кислоты, я перевязал их и освободил, хоть временно, от мух. Из одной раны я вынул сотни личинок и, конечно, этот туземец имел полное основание благодарить меня. Я особенно тщательно обмыл и перевязал раны одного ребенка, лет пяти, которого принес его отец, так расчувствовавшийся при этом, что снял с шеи свое ожерелье из раковин и непременно хотел надеть его на меня, чтобы доказать свою благодарность.

На другой день опять пришли больные из Били-Били. Один из них страдал сильной лихорадкой. Я хотел дать ему хины, разумеется, не во время пароксизма и поэтому объяснил ему, что приду потом и дам ему выпить „оним“, т.-е. лекарство. Но он замахал головой, говоря, что умрет от моего лекарства. Туземцы боятся принимать что-либо внутрь, но очень ценят наружные средства. После Боя осталась бутылка с кокосовым маслом, настоянным на каких-то душистых травах и я дал эту бутылку одному туземцу, который жаловался на боль в плечах и спине. Я объяснил ему, что надо этим натираться и он тотчас же с удовольствием принялся за это, потом, сообразив вероятно, что он употребляет неизвестное ему средство, вдруг остановился. Вероятно ему пришло в голову, что он может умереть от этого неизвестного „оним“, потому он сильно взволновался и, бросившись на своего соседа, принялся усердно тереть ему спину. Затем, вскочив на ноги, он, словно сумасшедший, стал перебегать от одного к другому и старался мазнуть их маслом. Должно быть он думал при этом, что если с ним случится что-нибудь неладное, так то же самое должно случиться и с другими. Его товарищи, очень озадаченные таким поведением, не знали как отнестись к этому, сердиться или смеяться?

Сегодня туземцы спрашивали меня, где Бой. Я отвечал им: „Бой орен“ (Боя нет).— „Где же он?“—задали они новый

вопрос. Я не хотел говорить неправды и, не желая показать ни на землю, ни на море, я просто махнул рукой и отошел. Они должно быть поняли, что я указал на горизонт, где далеко-далеко находится Россия, и стали между собой рассуждать. Кажется, они пришли к заключению, что Бой „улетел“ в Россию. Приходили также туземцы из Бонгу и спрашивали о Бое. Повидимому, они серьезно подумали, что Бой был отправлен мной в Россию и что я дал ему возможность перелететь туда. Мне думается, туземцы считают меня, и отчасти Ульсона, какими-то сверхъестественными существами.

Сближение с туземцами.

Замечательно, как одиночество различно действует на людей! Я вполне отдыхаю и бываю доволен только тогда, когда остаюсь один и, среди этой роскошной природы, я чувствую себя вполне хорошо, во всех отношениях, разумеется за исключением тех дней, когда у меня делается лихорадка. Зато бедняга Ульсон хандрит и охает постоянно, ворчит, что здесь нет людей и что здесь ничего не достанешь. Прежде он был веселым и предупредительным, а теперь стал раздражительным, ворчливым и работающим нехотя.

Однако, я начинаю чувствовать положительный недостаток в животной пище. Мы уже три месяца питаемся исключительно растительной пищей и я замечаю, что силы мои слабеют. Я не могу есть консервы; мне даже противно думать о них. Я решил непременно заняться охотой, лишь только у меня установятся лучшие отношения с туземцами. Тогда можно будет хоть немного разнообразить стол. Я мог бы иметь здесь вдоволь свинины, но я ее терпеть не могу. Туй принес мне и Ульсону по значительной порции свинины. Я, разумеется, отдал свою порцию Ульсону, который тотчас же и с'ел обе порции, не вставая с места. Он не только обглодал все кости, но с'ел также и толстую кожу (свинья была старая) с величайшим удовольствием.

При моей теперешней жизни, когда мне приходится быть часто и дровосеком, и поваром, и плотником, а иногда и прачкой, и матросом, а не только баринном, занимающимся естественными науками, рукам моим приходится плохо. Руки мои и прежде не отличались особенной нежностью, а теперь они покрылись мозолями, порезами и ожогами.

Я рассматривал ногти моих соседей папуасов. Оказалось, что они по крайней мере в три раза толще моих. Особенно толсты у них ногти больших пальцев, причем средняя часть ногтя толще, чем по бокам. Вследствие этого ногти легче обламываются по сторонам, нежели в середине и поэтому у туземцев нередко встречаются ногти, совершенно уподобляющиеся когтям.

Пока пришедшие туземцы разглядывали свои лица в зеркалах, которые они выпросили у меня, я осмотрел содержимое одной из сумок, называемой „гун“, которые они носят на перевязи через левое плечо и которые болтаются у них под мышкой. В этой сумке я нашел много интересных вещей. Кроме двух больших „донганов“, представлявших заостренную или плоско отточенную кость, имеющую форму долота или кинжала, тут были кости, отточенные с одного конца и служащие рычагом или ножом. В небольшом бамбуковом футляре заключались четыре заостренные кости, очевидно инструменты, способные заменить ланцет, иглу или шило. Там же находился „ярур“—раковина, имеющая зубчатый край и служащая у туземцев для выскабливания кокосов. Был также удлиненный кусок скорлупы молодого кокосового ореха, заменяющий ложку. Наконец, тут же был и данный мною когда-то большой гвоздь. Он был тщательно отточен на камне и очень аккуратно обернут корой, разбитой колотушкой. Это могло служить очень удобным шилом. Все эти инструменты были очень хорошо приспособлены для своих целей. Туземцы прекрасно плетут из разных растительных волокон различные украшения, как, например, „сагю“—браслеты и „дю“—повязки для придерживания волос. Но удивительно то, что они не плетут циновок, хотя у них имеются в изобилии листья пандануса, которые могут служить материалом для этого.

Туземцы очень берегут свои корзины, сплетенные из кокосовых листьев. Правда, с такими примитивными инструментами из камней и костей работать не легко. Все украшения они делают камнем, отточенным в виде топора или костями, а также отточенными осколками раковин или кремнем. Можно удивляться, как они ухитряются, при помощи таких

первобытных инструментов, строить недурные хижины и пироги, иногда даже не лишенные довольно красивых орнаментов.

Я заходил в Горенду напомнить туземцам, что они давно уже не приносили мне свежих кокосов.

— Не приносили оттого, — хором ответили папуасы, — что „таморусс“ (русские матросы) срубили много кокосовых деревьев и теперь мало осталось орехов.

Конечно, это было большим преувеличением и поэтому я предложил туземцам показать мне, где срубленные деревья. Несколько туземцев вскочили и побежали, чтобы указать мне срубленные стволы кокосовых пальм около самой деревни. Они приговаривали при этом: „кокосы есть можно, а рубить стволы нехорошо“. — Они были правы и я должен был замолчать.

1 января 1872 года. Рыбная ловля.

Ночью была сильная гроза с проливным дождем. Ветер был также очень силен и одна из лиан, висевшая над крышей, длиной в семь метров и толщиной в 3—4 сантиметра, свалилась с большим шумом, пробила крышу и разбила один из термометров. Все следующие дни тоже дули довольно свежие ветра. Ульсон уговорил меня поехать с ним удить рыбу, но, как я и ожидал, мы ничего не поймали. Жители Горенду и Бонгу тоже занимались рыбной ловлей и я направил шлюпку к трем ближайшим огонькам, чтобы посмотреть, как они это делают. Подсхав к ним довольно близко, я окликнул их. На пирогах произошло смятение. Огни сейчас же потухли и пироги скрылись в темноте, по направлению к берегу. Причиной бегства туземцев и внезапно наступившей темноты было присутствие женщин на пирогах. Я узнал об этом по донесшимся женским голосам. Пироги, однако, вернулись и минуты через две шлюпка была окружена десятком пирога и почти что каждый из туземцев подал мне по одной или по две рыбы, а затем они отехали и продолжали ловлю.

На платформе каждой пироги лежал целый ворох связанной в пучки длинной сухой травы. Стоящий впереди пи-

роги туземец зажигал один за другим эти пучки и освещал поверхность воды. Другой туземец держал „юр“ (острогу) длиной в 8 или девять футов, которую он метал в воду и почти каждый раз сбрасывал ногой с нее две или три рыбки. Ему случалось не раз выпускать „юр“ из рук и тогда пирога подезжала к юру, который плавал стоймя, погруженный в воду только на четверть. „Юр“ так устроен, что, погружившись в воду и захватив добычу (рыбки остаются между зубьями), он поднимается сам из воды и плавает стоймя. Третий папуас на пироге управлял ею, сидя на корме.

Целых пять дней я прохворал лихорадкой и ничего не мог делать. Одиннадцатого января мне стало лучше и в этот день пришло несколько человек из Бонгу, приглашавших меня притти к ним. Один из посетителей сказал мне, что очень хочет есть и я отдал ему тот самый кокос, который он принес мне в подарок. Он отделил зеленую скорлупу ореха сперва топором, а затем донганом и попросил у меня „табир“ (деревянное блюдо). У меня не было табира и я принес ему глубокую тарелку. Держа кокос в левой руке, он ударил по нему камнем, отчего орех треснул как раз посередине. Придерживая его над тарелкой, он разломил его на две, почти равные части, причем молоко вылилось в тарелку. К нему подсел его товарищ и оба достали из своих мешков „яруры“ (плоские раковины с зазубренными краями) и стали выскребивать ими свежее зерно ореха. Выскобленную длинными полосками массу они опустили в кокосовое молоко. Скоро вся тарелка наполнилась белой кашей, а начисто выскобленные половинки скорлупы превратились в чашки, яруры же служили ложками. Это кушанье было приготовлено так быстро и опрятно, инструменты же были так просты и целесообразны, что я должен был отдать предпочтение этому способу еды кокосового ореха перед всеми другими, которые были мне известны. Туземцы называют это кушанье „моккаля“ и оно играет большую роль во время угощений.

В гостях у туземцев.—Добывание огня.— Докторская помощь.—Ложная тревога.

Несмотря на накрывающий дождь, я принял приглашение туземцев Бонгу отправиться к ним, надеясь, что я смогу обстоятельно осмотреть деревню, тем более, что мое знание языка уже достаточно подвинулось. Я предпочел отправиться в Бонгу на шлюпке.

Несколько туземцев, стоя по пояс в воде, ожидали меня, чтобы перенести на берег и один из мальчиков побежал в деревню возвестить о моем приближении. За мной следовало человек 25 туземцев. От песчаного берега шла довольно хорошо утоптанная тропинка к деревне, которая с моря не была видна. Шагов за пять до первых хижин не было видно и слышно признаков обитаемого места и только у крутого поворота я увидел первую крышу, стоявшую у самой тропинки. Пройдя около нее, я вышел на площадку, окруженную десятком хижин.

Хижины папуасов почти целиком состоят из крыши, имеют очень низкие стены и небольшие двери. За неимением окон, они темны внутри и единственная мебель их состоит из нар. Над входом часто выступает навесом полукруглая крыша. Вблизи хижин, почти у каждой, находится помост на четырех ножках, вроде стола или высокой скамьи. Это так-называемые „барлы“. Они бывают вышиной несколько более метра и встречаются во всех селениях, как на побережьях, так и в горах. Барлы—место отдыха и трапезы мужчин. Когда обед готов, на барлу ставят деревянные блюда и хозяин и гости садятся на нее. Таким образом они могут спокойно есть, не опасаясь назойливых приставаний многочисленных свиней и

собак, которые кишат в деревнях. Насытившись и убрав посуду, папуасы растягиваются на барле, превращающейся тогда в диван или кровать для них. Но барлами пользуются только мужчины, женщины же сидят на земле, на корточках.

Деревня состоит из нескольких групп таких хижин, расположенных кругом площадки и соединенных узкими тропинками. Все селения окружены густым девственным лесом и каждая группа хижин имеет отдельное название.



Рис. 2. Общественная хижина „Буамрама“.

Хижины бывают трех родов: одиночные, семейные и большие сараеобразные хижины, гораздо выше всех остальных, называемые „Буамрама“ и предназначенные для общественных целей (рис. 2). Этими хижинами пользуются только мужчины. Они служат спальней для молодых людей и для гостей, приходящих из других деревень. Обыкновенно буамрама не имеет ни передней, ни задней стены, а иногда нет и боковых стен, так что хижина эта состоит только из одной высокой крыши, лежащей на столбах и доходящей почти до земли. Под этой крышей с одной стороны устроены нары для сидения или сна и здесь же хранится посуда, предназначенная для общественных праздников. Таких общественных хижин, пред-

ставляющих нечто вроде клуба, было пять или шесть в деревне Бонгу, по одной на каждой площадке. В каждой буамрамра бросаются в глаза толстые, длинные, выдолбленные древесные стволы, играющие в жизни папуасов большую роль. Эти стволы, называемые „барум“, похожи на неуклюжие толстостенные челноки. Они устанавливаются на двух поперечных балках и на своей внешней стороне, приблизительно посредине, имеют более гладкое стертое место, по которому и ударяют палкой, толщиной в руку. Удары эти производят громкий, глухой звук, слышимый по берегу за пять или шесть морских миль. Посредством барума сообщаются соседним деревням все важные события. Нашествие неприятеля, смерть мужчины или устройство праздника, — все это возвещается в окрестности рядом последовательных ударов, более сильных или слабых и с более или менее продолжительными паузами между ними. В каждой деревне имеются особенно ловкие искусники бить в барум.

Замечательно то, что почти все жители побережья не знают никакого способа добывать огонь, поэтому они всегда и везде носят с собой горящие или тлеющие головешки. Идя рано утром на плантации, они несут с собой полусторевшее полено из своего очага, чтобы развести огонь где-нибудь в углу плантации. Отправляясь в более далекий путь, например, в горы, они тоже берут с собой огонь для курения, так как их сигары, завернутые в зеленые листья, то и дело гаснут. Во время поездок по морю они держат обыкновенно раскаленные угли в полуразбитом горшке, наполненном на дне землей. Остающиеся же в деревне туземцы никогда не забывают поддерживать огонь. Даже ночью они разводят небольшой огонь в хижинах под кроватями, что, при отсутствии одежды, защищает их отчасти от холодного ночного воздуха. Теплота проникает вместе с дымом сквозь щели бамбукового помоста и согревает, даже припекает, одну половину тела, тогда как другая половина мерзнет. Ночью им приходится вставать несколько раз, чтобы посмотреть, горит ли огонь. Горные жители не поддерживают вечного огня, так как умеют добывать его, раскалывая каменными топорами сухое полено, которое они называют „илоль“, таким обра-

зом, чтобы обе половины его не вполне распались. В образовавшуюся расщелину они вводят крепкий шнурок из расщепленной лианы и, придерживая на земле это полено ногой, быстро двигают шнурком, пока не вспыхнут подложенные снизу сухие волокна, взятые со скорлупы кокосового ореха. Нельзя сказать, впрочем, чтобы этот способ добывания огня был удобен. Я видел, что прошло целых полчаса, прежде чем папуасу удалось таким путем добыть огонь. Поэтому туземцы даже в горах по возможности избегают потухания огня в очаге. Жители прибрежных деревень говорили мне не раз, что им приходится ходить в другие деревни за огнем, если случайно у них погаснет огонь во всех хижинах.

Когда я пришел в Бонгу, то меня поочередно водили по всем буамрамра; и в каждом меня ожидала группа папуасов, которую я наделял табаком, гвоздями для мужчин и полосками красной бумажной материи для женщин, но женщин туземцы опять куда-то попрятали; по крайней мере я не видел ни одной из них.

Деревня Бонгу была по крайней мере раза в три значительнее Горенду. Как в Горенду, так и здесь хижины стояли под большими кокосовыми пальмами и бананами и были расположены вокруг небольших площадок, соединенных одна с другой коротенькими тропинками. Обойдя, наконец, всю деревню и раздав все подарки, я уселся на большой барле, а вокруг меня собралось человек сорок туземцев. Хижина буамрамры, где я находился, была шириной в 24 фута, длиной—42 фута и около 20 футов вышиной. Крыша не доходила до земли только на один фут и поддерживалась посредине тремя крепкими столбами. Крыша была так построена, что, конечно, должна была устоять против всякого ливня и продержаться по крайней мере с десяток лет. Над нарами висело разного рода оружие, а посуда, деревянная и глиняная, стояла на полках. И все в этой постройке показалось мне солидным и удобным.

Отдохнув немного и осмотрев все кругом, я отправился далее, оставив Ульсона и одного из папуасов принимать за меня обратные подарки туземцев, которые они постепенно приносили из своих хижин. Тут были: сладкий картофель, бананы, кокосы, печеная и копченая рыба, сахарный тростник

и т. п. Солнце уже стояло низко, когда мы отправились в обратный путь. Меня провожали рукопожатиями и возгласами „эме-ме“, но когда мы добрались домой и начали вынимать подарки из шлюпки, то Ульсон объявил, что он разочарован поездкой.

— Дают мало, — сказал он. — Кокосы старые, рыба так жестка, как дерево, бананы зеленые. К тому же мы ни одной женщины не видели в деревне... Он продолжал ворчать, отправляясь в кухню, так как надо было доваривать бобы для нашего обеда.

У меня был такой сильный пароксизм лихорадки, что Ульсон испугался. Он думал, что я умираю и зарыдал, сокрушаясь о своей участи. Озноб был такой, что я не мог говорить ни слова, а когда он сменился жаром, то появилось странное ощущение. Мне казалось, что мое тело растет, голова увеличивается все более и более, достает почти до потолка, руки делаются громадными и пальцы становятся такими большими и толстыми, как были руки. Но это не был бред, а было лишь странное ощущение, продолжавшееся около часу и очень утомившее меня. Двумя большими приемами хины мне удалось предотвратить повторение пароксизма. Я был рад, что никто не приходил и крикливые люди не мешали мне. Я доволен своим одиночеством. Встреча с людьми не составляет особенной тягости для меня, но все они для меня почти что лишние. Мне даже общество Ульсона (если это можно назвать обществом) часто надоедает и поэтому я отменил совместную еду. Каждый из нас ест на своей половине. Мне кажется, если-б не болезнь, то я не прочь был-бы остаться здесь навсегда и никогда не возвращаться в Европу!

Я занимался измерением и срисовыванием черепов, когда ко мне явились гости из дальней горной деревни. Надо было видеть их глуповато-изумленные и озадаченные лица, когда я показал им зеркало! Некоторые отворачивались, а потом снова осторожно заглядывали в зеркало, но под конец им так это понравилось, что они чуть не вырывали зеркало друг у друга из рук. По их уходу Ульсон заметил, что у нас из кухни пропал нож, и сказал мне, что он подозревает одного из приходивших жителей Горенду. Это была первая кража, совершенная туземцами, и потому нельзя было оставить ее без внима-

ния. Однако, я не мог тотчас же идти в деревню, чтобы обличить вора, потому что был занят исправлением шлюпки. Но как раз, когда я работал около шлюпки, прибежал впопыхах один из туземцев Горенду и заявил мне, что его послал за мной Туй, на которого упало дерево. Он рубил его и дерево своим падением сильно ранило его в голову и теперь он лежит и умирает.

Я, конечно, тотчас же поспешил в деревню, захватив все необходимое для перевязки. Раненый полулежал на циновке и, повидимому, очень обрадовался, увидев меня. Он тотчас же снял повязку с своей головы, состоявшую из травы и листьев и предоставил мне осмотреть рану и наложить новую перевязку. Я рассказал Туя и старику Буа, который пришел посмотреть на перевязку раны, о случившейся у меня краже и о том, что я подозреваю в этом одного из жителей Горенды. Туй и Буа заговорили с жаром, что это дурно, но уверяли меня, что подозреваемый отдаст нож.

Когда я стал обмывать рану и срезать слипшиеся от крови волосы вокруг нее, то около меня и раненого уже собралось целое общество, среди которого я увидел и предполагаемого вора. Кончив перевязку, я прямо обратился к нему и сказал: „Макине (так звали его), принеси мне мой нож“. Он очень спокойно, как ни в чем не бывало, вытащил нож и подал мне его. Как я узнал потом, он сделал это по требованию всех жителей Горенды.

Когда я перевязал рану Туя и расположился около него, то вокруг уже собралось большое общество соседей, а также и жителей Бонгу и Гумбу. Туй заметил, что при моем „кин-кан-кан“ (название это он выдумал для моего свистка и произносил его в нос) все „нангели“ (женщины) убежали. „Это очень дурно, прибавил он, потому что Маклай „тамо-билен“ (хороший человек). Тут я услышал за собой женский голос и, обернувшись, увидел старую женщину, которая добродушно улыбалась. Это была жена Туя, очень некрасивая старуха, одетая в юбку из каких-то грязных желто-серых волокон, которая закрывала ее от пояса до колен. Волосы ее висели намасленными пучками вокруг головы, опускаясь и на лоб. Она так добродушно улыбалась, что я подошел к ней и пожал ей руку. Это очень понравилось ей и всем окру-

жающим. После этого из-за хижин и кустов стали появляться женщины всех возрастов и небольшие девочки. Каждый из мужчин представил мне свою жену и она протягивала мне свою руку. Только молодые девушки в очень коротеньких костюмах хихикали, толкали друг друга и прятались одна за другую. Каждая женщина принесла мне сахарного тростника и по пучку ауся. Все кажется были довольны знакомством со мной, а может быть и тем, что избавились наконец от обязанности прятать своих жен при моем приближении.

Мужчины образовали группу около лежавшего Туя, курили и разговаривали, беспрестанно обращаясь ко мне. Я уже много понимал, хотя еще и не мог много говорить. Женщины же расположились в некотором расстоянии, около жены Туя, занимавшейся приготовлением таро. Многие из молодых женщин, например, жена Бонема, старшего сына Туя, были недурны собой. Девушки, вместо длинных юбок из бахромы, носили фартуки спереди и сзади, причем боковые части ног у них от самого пояса оставались обнаженными. У девочек моложе двенадцати лет фартуки заменялись кисточками, причем задняя кисточка была длиннее передней и похожа была на хвостик. Женщины принесли мне так много подарков, что двум туземцам пришлось отнести их ко мне домой.

Я объяснил Туя, что он должен лежать, не ходить по солнцу и не снимать перевязки. Когда я уходил, Туя указал мне на большой сверток растения „ауся“ и сахарного тростника. Кажется, это была плата за лечение. Туя не хотел взять от меня табак за это, но я все-таки оставил ему табак, так как я не желал, чтобы он думал, будто я помог ему ради платы.

Вечером ко мне пришли многие жители Горенду и, указывая на деревья, стоящие около дома и угрожавшие падением, говорили, что крыша моего дома нехороша, что она протекает и предлагали переселиться к ним в Горенду, говоря, что люди в Горенду очень скоро построят мне дом.

Я заходил на другой день в Горенду, хотел перевязать рану Туя, но во всей деревне не нашел никого, за исключением трех или четырех собак. Все жители были на работе в лесу. Туя также ушел, вероятно, почувствовав себя лучше. Но на следующий день я нашел его рану в худшем состоя-

нии и побранил его за вчерашнее гулянье. Я перевязал рану, сказал ему, что он умрет, если будет ходить по солнцу, и прибавил, что еще раз приду вечером.

Я только что расположился обедать, как прибежал Лялай, младший сын Туя, с приглашением от отца придти обедать



Рис. 3. Одежда девушки.

в Горенду. Он сказал, что для меня готова рыба, таро, аусь, кокосы и сахарный тростник. Я пообедал, однако, дома, а затем отправился с Лялай и Лялу в деревню. Пройдя ручей, я услышал вдруг восклицание Лялу. Обернувшись и спросив, что такое, я узнал, что Лялу наступил на змею „борле“

(дурную), от укушения которой человек умирает. Я тотчас же вернулся к тому месту, где Лялу указал мне на змею, спокойно лежавшую поперек тропинки. Видя, что я приближаюсь к змее, оба туземца подняли крик: „борле, борле, ака, Маклай моен“ (дурно, дурно, нехорошо, Маклай умрет). Но я убил змею и скорым шагом пошел в деревню, потому что солнце уже садилось. По обыкновению, я свистком предупредил жителей Горенду о моем приближении, для того, чтобы женщины имели время спрятаться. Я много раз замечал, что туземцам нравится такой образ действий. Они видели, что я поступаю с ними открыто и не желаю нарушать их обычаев и видеть то, что они не хотят показывать мне. При моем свисте все женщины, от мала до велика, прятались в кусты или хижины. Конечно, и сегодня было то же самое.

Когда я на следующий день снова зашел к Тую, то опять нашел его рану в плохом состоянии. Все это от того, что он не может усидеть на месте и много ходит по солнцу. Он захотел угостить меня таро, но костер в его хижине потух. Лялай был послан за огнем, но, вернувшись минут через десять, сказал отцу, что огня нигде нет. В деревне в это время никого не было кроме нас троих и все хижины были плотно заложены бамбуком, но Туй приказал своему сыну осмотреть все хижины, не найдет ли где-нибудь в них огня. Тут прибежали еще несколько девочек и вместе с Лялаем стали осматривать хижины, но огня нигде не оказалось.

Туй очень досадовал. Ему хотелось сварить таро и хотелось покурить. Он утешал себя, говоря, что люди должны скоро придти с поля и они принесут огонь. Ясно было, что у моих соседей еще не было средств добывать огонь. Пришедшие женщины расположились около нас и с большим любопытством рассматривали меня и мой костюм. Любопытство их было вполне понятно, так как до сих пор они еще не видели меня вблизи. Я и сам внимательно их осматривал. У некоторых девочек волосы были совсем острижены, у многих смазаны золой или известью. Первое делалось для того, чтобы уничтожить насекомых, а второе, чтобы сделать волосы светлее. У старух волосы были длинные и на затылке у них были локоны, густо смазанные черной землей; они

висели вокруг всей головы. Пришедшие с плантации женщины и девочки принесли на спине большие мешки, перевязь которых охватывала верхнюю часть лба. Если мешок был полон и тяжел, они сильно нагибались, чтобы сохранить равновесие.

Как у мужчин, так и у женщин, носовая перегородка была продырявлена. В ушах, кроме обыкновенного отверстия для серег, было еще другое в верхней части ушной раковины; через эти отверстия проходит шнурок, средняя часть которого перехватывает голову как раз от одного уха к другому, а на обоих свободных концах, висящих до плеч, нанизаны попарно клыки собак.

Под крышей, над входом в одну хижину, я увидел большого жука, энергично старавшегося освободиться из петли, стягивавшей его поперек. Лялай, семилетний сын Туя, сказал мне, что это его жук, которого он принес, чтобы с'есть, но если я хочу, то могу взять его себе, прибавил он. Жук оказался новым видом и совершенно целым, поэтому я и воспользовался предложением мальчика. Пока я отвязывал жука, Туй указал мне на большого паука и сказал, что жители Горенду, Бонгу и Гумбу едят также и „кобум“ (пауков), следовательно, к мясной пище папуасов надо причислить еще и личинки бабочек, жуков, пауков и т. д.

Когда я пришел утром 20 февраля к хижине Туя, то уже издали увидел целую сходку мужчин и женщин. Меня особенно удивило присутствие женщин, так как обыкновенно в этот час все женщины уже работали на плантациях. Я догадался о причине этого, когда подошел к Тую. У него опухло все лицо и он едва мог говорить. Туземцы суетились около него, думая, что он умрет. Я осмотрел больного и решил пойти домой, чтобы принести все необходимое для того, чтобы делать припарки больному. Захватив с собой ланцет, я вернулся в Горенду, где меня встретили выражениями радости. Приготовив припарки из льняного семени, я стал очень усердно прикладывать их, и вскоре через ранку на виске выделилось значительное количество жидкой материи. Я продолжал делать припарки в течение нескольких часов очень добросовестно.

Нас окружало большое общество, остававшееся на почти-тельном расстоянии. Все расселись и разлеглись в самых разнообразных позах; главным занятием женщин и девочек было искать в куафюрах мужчин вшей, которых они тут же раскусывали и вероятно проглатывали. Я роздал женщинам по несколько полосок красной материи и по некоторому количеству бисера, который я отмеривал чайной ложкой, давая каждой по две ложки. Раздача подарков женщинам совершалась спокойнее, чем раздача подарков мужчинам. Каждая женщина получала свое и уходила, не прося прибавки и только улыбкой и хихиканьем выражала свое удовольствие; табак кажется особенно понравился им. Вследствие болезни Туя, жена его, вместе с женой сына, готовили ужин для семьи и для меня.

Следя внимательно за приготовлением, распределением и уничтожением пищи туземцами, я удивлялся той массе, какую пауасы пожирают. Не жадность, а положительная необходимость заставляет есть так много в странах, где существует недостаток в животной пище. Туземцы, особенно дети, наедаются до того, что им положительно трудно бывает двигаться.

Я сделал одно интересное открытие: проходя мимо хижины одного туземца, я обратил внимание на его занятие. Перед ним стояла чаша из большого кокосового ореха. Другая, с отверстием посредине, тоже из кокосового ореха, имела дно, покрытое слоем тонкой зеленой травы. Поставив вторую чашу на первую, он из третьей чаши налил на траву какую-то темно-зеленую густую жидкость, которая профильтровывалась через нее в нижнюю чашу. Когда я его спросил, что это такое, он мне ответил, подавая кусок корня растения „кеу“ и показал мне, что, выпив эту жидкость, он заснет.

Этот напиток, имеющий сильно опьяняющие свойства, готовится следующим образом: листья, стебли и особенно корни „кеу“ жуют и когда масса бывает достаточно размячена, то ее выплевывают в кокосовую скорлупу с возможно большим количеством слюны. К этой разжеванной массе приливают немного воды и, профильтровав эту грязно-зеленую кашу через пучек травы, пьют этот фильтрат, очень горький и ароматичный. Он не особенно вкусный и пауасы

проделывают разные гримасы, когда пьют его. Но они его употребляют ради его опьяняющего действия. Пьют его только взрослые мужчины; женщинам и мальчикам он строго воспрещен. На пирах все мальчики и молодые люди участвуют в жевании „кеу“ для приготовления напитка.

Папуасы не знают соли, поэтому они варят пищу с небольшим количеством морской воды, разбавляя пресную воду на одну треть морской водой. Горные жители, спускаясь на берег, не упускают случая захватить с собой в горы бамбуковые стволы, наполненные морской водой, хотя и очень трудно нести их целые дни по крутым тропинкам. Береговые жители имеют еще суррогат соли в прибываемых к берегу приливом засохших стволах и корнях, которые сильно пропитываются солью, носясь многие месяцы в море. Папуасы сушат их несколько дней на солнце и затем поджигают. Стволы горят небольшим пламенем и оставляют значительное количество белой золы. Эту еще теплую золу папуасы с жадностью едят. Она действительно довольно соленая, но только ее нельзя долго сохранять. Прибрежные жители раскалывают на куски эти прибитые к берегу стволы и часто разносят в виде подарка по горным селениям, где жители очень экономно пользуются ими.

Туй начал поправляться и стал тоже ходить на плантации. Он там сидел около работавших членов семьи, несмотря на палящее солнце. Найдя его там, я тотчас же отправил его в деревню, а сам остался еще несколько времени, чтобы посмотреть, как обрабатывают землю папуасы. Плантации их очень хорошо обработаны и земля бывает тщательно измельчена. Это требует большого труда, так как они работают с помощью двух самых примитивных орудий: простого заостренного кола, который туземцы называют „удя“, имеющего в длину более двух метров, и узкой лопаты, длиной в один метр. Несколько мужчин становятся в ряд и вместе разом втыкают свои колья по возможности глубже в землю, потом тоже одновременно поднимают продолговатую глыбу земли, затем идут далее и выворачивают подобным образом целые ряды таких глыб. Другие, также при помощи кольев, разбивают эти глыбы на более мелкие, за ними следуют

женщины, вооруженные „уде-сабами“ — узкими лопатами. Они разбивают большие комья земли, делают клумбы и даже растирают землю руками.

Я хотел пойти в горную деревню Колику-Мана, несколько жителей которой я видел в Гумбу и они приглашали меня притти к ним. Запасшись провизией на целый день, вареными бобами и таро, я отправился в Горенду, где, по уговору, Бонем и Дигу должны были ждать меня, чтобы итти со мной. Перевязав рану Туя, я спросил, где же Бонем? Мне ответили: „Он ушел“. А Дигу? Ушел с Бонемом. Это нехорошо, сказал я. Мне было тем более досадно, что я не знал дороги в Колику-Мана. Мне было известно направление по компасу, но тропинки здесь такие капризные, что, желая попасть на юг, часто идешь, вместо этого, на север, затем, идя извилинами то на запад, то на восток, добираешься, наконец, и до настоящего направления. Бывают также и такие случаи: тропинка вдруг кончается и перед тобой открывается узкий, но глубокий овраг. Внизу ручей, а на другой стороне сплошная стена зелени. Куда же итти, чтобы выйти на дорогу? Тропинка хорошо протоптана и, очевидно, много людей прошло по ней, но здесь ей конец. Что же оказывается? Надо при помощи свесившегося над оврагом дерева спуститься к ручью, там найти другое дерево, взобраться на один сук, почти что скрытый в зелени, перейти на другое дерево и затем пройти до известного поворота и спрыгнуть на пенек уже по другой стороне оврага, где продолжается тропа. Случается также, что надо подняться или спуститься по течению ручья, идя в воде шагов сто или двести, чтобы выйти на продолжение тропинки.

Не желая подавать виду, что меня можно водить за нос, я об'явил, что сам найду дорогу и вынул компас. Туземцы отступили шага на два, но все же они могли заметить движущуюся стрелку компаса. Я посмотрел на него (более для эффекта), очень самоуверенно выбрал дорогу, к великому изумлению папуасов, и отправился. Я решил итти в Бонгу и там найти себе спутника. Пройдя уже полдороги, я вдруг услышал за собой знакомые голоса, зовущие меня. Жители Горенду одумались, побоялись рассердить меня и прислали

двух человек. Однако, эти люди пришли более для того, чтобы уговорить меня не идти в Колику-Мана, а не для того, чтобы указать мне дорогу туда. После длинных разговоров они вернулись в Горенду, а я пошел вперед. Снова слышались шаги. Это был Лако, вооруженный топором и копьем. Он сказал мне, что пойдет со мной в Колику-Мана.

Я был доволен и весело отправился по тропинке. Я часто сворачивал в сторону и Лако, шедший за мной,—папуасы так недоверчивы, что не допускают меня идти за ними,—постоянно указывал мне настоящую тропинку. Будь я один, я бы уже много раз сбился с пути.

Мы, наконец, вышли из леса к обрывистому морскому берегу. Внизу была хорошенькая бухточка, но надо было спуститься футов на 40 вниз. Тропинка, подойдя к обрыву, сворачивала на юг, вглубь леса, а мне надо было идти на юго-запад. Лако подошел к дереву и махнул мне рукой, чтобы я следовал за ним. Когда я подошел, он указал мне направление и сам быстро, но осторожно, стал спускаться по корням дерева к морскому берегу. Я тоже пошел по этой воздушной лестнице. Она казалась головоломной, но на самом деле была не слишком трудной, конечно, приходилось держаться на руках, и, повиснув в пространстве, искать ногами опоры. Если бы я оборвался, то, разумеется, разбил бы себе череп. Внизу, пройдя минут пять по берегу, мы опять вошли в лес. Слышался снова вдали крик. То были те же люди из Бонгу. Мы подождали немного, пока они присоединились к нам и заявили, что пойдут со мной в Колику-Мана. Сначала мы шли лесом, затем прошли в брод два ручья, потом еще прошли небольшую речку Теньгум, по которой спустились к морскому берегу. После этого перешли еще две речки, вода которых показалась мне очень холодной по сравнению с горячим береговым песком, накаленным солнцем почти до 30° Ц., хотя было всего 8¹/₂ часов утра.

Мы остановились у двух больших деревьев, откуда тропинка вела в лес; это место, как оказалось, служило постоянным привалом для путников, идущих в Колику-Мана. Затем началась поляна, покрытая высокою травой в рост человека. Эта трава покрывает все плоские и отлогие места в окрест-

ностях и называется туземцами „унап“. Она так густа и так жестка, что без тропинки через нее невозможно пробраться. Пройдя ее, мы пошли опять в гору и через лес. У последнего дерева Лако показал мне первые хижины Колику-Мана.

Мы прошли вдоль забора обширной плантации, расположенной на скате холма. Можно было подивиться предприимчивости и трудолюбию туземцев и тщательной обработке земли. У забора рос сахарный тростник и моим спутникам захотелось позабавиться. Мы остановились и мои спутники прокричали что-то. Им ответил женский голос, который скоро приблизился. Тогда мои спутники стали передо мной на возвышенном краю тропинки и совсем закрыли меня. Я увидел из-за тростника быстро приближавшуюся молодую женщину. Когда она подошла к забору, то говорившие с ней туземцы быстро расступились и я очутился перед ней. На лице ее выразился сильнейший ужас; ведь она никогда не видала белого! Глаза ее широко раскрылись и руки судорожно ухватились за тростник. Видимо, ноги отказывались ей служить. Мои спутники, довольные своей шуткой, стали объяснять ей, кто я, а я, бросив ей кусок красной материи, отправился дальше.

Тропинка становилась все круче. Наконец, показалась первая кокосовая пальма, а затем крыша туземной хижины. Минуты через две я был на площадке, окруженной шестью или семью хижинами. Меня встретили двое мужчин и мальчик, к которым присоединилась старая очень некрасивая женщина. Я заметил, что мои спутники очень хотели, чтобы жители Колику-Мана получили обо мне хорошее мнение. Насколько я мог понять, они расхваливали меня, говорили об исцелении Туя, о разных удивительных вещах, которые находятся в моем „таль“ (доме) и т. п.

Пока для меня готовили обед, я занялся срисовыванием „телума“, который увидел в буамрамре, телумы—это сделанные из дерева и реже из глины изображения человеческих фигур, мужчин и женщин. Они заслуживают особенного внимания, как художественные произведения людей каменного века. Наконец, нам подали два „табира“, один для меня, другой для моих спутников, и после прогулки все показалось

мне сваренным очень хорошо. Поданного мне кушанья было так много, что я не мог с'есть и четверти его, но, несмотря на мои возражения, все оставшееся было тщательно завернуто в банановые листья, чтобы я мог взять это и потом с'есть.

На другой день я еще чувствовал усталость от сделанной мной большой прогулки накануне, и поэтому по дороге в Гумбу присел отдохнуть на берегу и полюбоваться морем. Мое раздумье было прервано появлением туземца, который бежал по берегу очень быстро. Он держал в левой руке над головой лук и стрелы, с каменным топором, висевшем на плече, и по временам делал какие-то знаки правой рукой. Вышедшие ко мне на встречу из деревни туземцы, при виде бегущего, о чем-то оживленно заговорили и еще более оживились, когда за первым бегущим последовали еще несколько других. Все бежали скоро, ровно и, повидимому, с каким-то важным известием. Трудно было не любоваться ими, так легко и свободно они двигались. Я сидел на своем месте и первый туземец, не останавливаясь, пробежал мимо нас прямо в деревню. Хотя он и не остановился, но все же успел выразительными жестами сообщить нам свою новость. Поровнявшись с нами, он ударил себя в грудь правой рукой, закинув на бок голову и высунув немного язык, что означает у папуасов смерть, убийство или что-нибудь подобное. При этом он крикнул: „Марагум — Горенду“. Все остальные туземцы побежали также в деревню и я последовал за ними. Еще не дойдя до первых хижин, мы услышали ускоренные удары барума и из хижин было вынесено большое количество оружия разного рода. Не понимая в чем дело, я, почти что силой, остановил одного из бежавших в Гумбу ту-

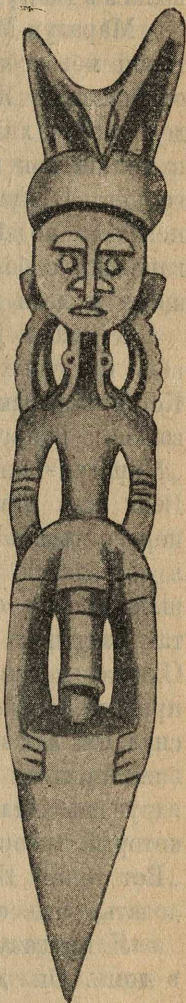


Рис. 4. Телум.

земцев и узнал от него новость: Люди Марагум напали на Горенду, убили несколько человек, в том числе и Банема, затем отправились в Бонгу, вероятно, придут и в Гумбу и в „таль“ Маклай...

Марагум-Мана была большая деревня, с жителями которой мои соседи уже давно находились в неприязненных отношениях. Я вспомнил, что в Горенду уже несколько недель около хижин постоянно лежала наготове куча стрел и копий, так как все жители ожидали нападения со стороны горцев. В Гумбу царствовало всеобщее смятение, которое невольно подействовало и на меня. Мужчины громко разговаривали с большим жаром, другие готовили оружие, а женщины и дети кричали, а собаки оглушительно выли.

Я пошел домой скорым шагом, мысленно браня эту тревогу и глупых людей, мешающих моей спокойной жизни. Когда я рассказал об этом Ульсону, то он сильно взволновался и попросил приготовить шлюпку на случай, если бы „Марогум-Мана Тамо“ оказались очень многочисленными. Ведь если нам не удастся отстоять хижину, то мы можем перебраться в Били-Били,—говорил он. Чтобы успокоить его, я согласился, но сказал только, что переносить вещи на шлюпку еще слишком рано и что первый выстрел должен так озадачить туземцев, что они не решатся идти дальше. Однако, я все же зарядил мои ружья и решил подождать их прихода, спокойно растянувшись на своей койке. Я скоро заснул, так как знал, что встревоженный Ульсон, конечно, не проспит прихода гостей. Спал я очень крепко и спокойно, но меня вдруг разбудили крики и шум в лесу. Я услышал голос Ульсона, который говорил на своем ломаном шведско-немецком языке: „Вот они! Пусть господин теперь приказывает, я все буду делать, что он скажет, а то я не буду знать, что делать!..“

Я приказал ему загородить ящиками дверь и оставаться в доме. Он должен будет заряжать по мере надобности ружья и револьверы, которые я буду передавать ему. При этом он должен постараться, чтобы руки у него не так сильно тряслись. Крики и шум приближались и я вышел на веранду, положив перед собой два револьвера и ружье-револьвер.

В руках я держал двустольное ружье, заряженное мелкой дробью.

Вскоре между деревьями за ручьем показались головы людей. Но что это? Вместо копий и стрел я вижу у них в руках кокосы и бананы. Оказалось, что это были жители Бонгу, которые пришли мне сказать, чтобы я не беспокоился и рассказали мне причину тревоги. Утром сегодня женщины Бонгу, выйдя на работу далеко в поле, заметили на холмах несколько незнакомых вооруженных людей. Им показалось, что эти люди хотят окружить их и некоторым из женщин почудилось, что вооруженные люди направляются в их сторону. Они с криком бросились бежать. Те, которые были впереди, услышав шаги бегущих за собой, вообразили, что за ними гонятся, и стали кричать еще сильнее, направляясь к плантации, где работало несколько мужчин. Мужчины, впрочем, скоро убедились, что это была ложная тревога и стали бить своих жен, чтобы заставить их замолчать. Но те подняли такой крик, что проходившие вдалеке люди Гумбу не могли более сомневаться, что люди Марагум-Мана действительно избивают жителей Горенду. Поэтому они бросились бежать в Гумбу, где и рассказали слышанную мною новость о нападении на Горенду, смерти Бонема и т. д. Тем не менее туземцы полагали, что неизвестные люди, виденные женщинами Бонгу, могли быть все-таки жителями Марагум-Мана и поэтому считали нападение возможным.

Моим соседям туземцам очень понравилось то, что я приготовился встретить как следует неприятеля, и они просили позволения прислать своих женщин под мое покровительство, когда будут ожидать нападения горцев. Я решил воспользоваться этим случаем и познакомить туземцев с огнестрельным оружием. До сих пор я этого не делал, не желая возбуждать их подозрительности. Но теперь я мог показать, что действительно могу защитить себя и тех, кого возьму под свое покровительство. Я приказал Ульсону принести ружье и выстрелил. Туземцы схватились за уши, оглушенные выстрелом и кинулись было бежать, но остановились, прося спрятать ружье и стрелять тогда, когда придут „Марагум-Тамо“. Ружье туземцы называли „табу“, вероятно потому, что с первого же дня моего пребывания здесь все недозволенное, — все до чего я не хотел позволить туземцам дотрагиваться, я сам называл „табу“.

Ночной праздник.

Жители Гумбу пришли на другой день просить меня идти с ними и жителями Горенду и Бонгу в Марагум, говоря, что будут делать все, что я прикажу и что жители Марагум, услышав о приближении Маклая, тотчас же убегут в горы. Пришли также жители Колику-Мана, а с ними Туй и Лялу. Все говорили о Марагум и хором прибавляли, что теперь, когда Маклай будет с ними, Марагум-Тамо придется плохо.

Ночью я слышал сквозь сон звуки барума и папуасских музыкальных инструментов и завывания туземцев. Около половины пятого утра услышал сквозь сон, что кто-то зовет меня. Я вышел на веранду и разглядел в полумраке Бангума из Горенду, который пришел позвать меня от имени всех туземцев, жителей Горенду, Бонгу и Гумбу, на их ночной праздник. Я, разумеется, согласился, оделся второпях и мы пошли, часто спотыкаясь о корни и лианы вследствие окружающей темноты.

На первой площадке в Горенду меня встретил Туй, очень бледный вследствие бессонной ночи, и попросил меня перевязать ему рану, которая все еще сильно беспокоила его. Когда я сделал перевязку, он указал на тропинку, которая вела между деревьями к морю, и прибавил: „выпей кеу и покушай аяна и буам“.

Я пошел по тропинке к площадке, окруженной вековыми деревьями, на которой расположилось человек 50 туземцев. Начинало светать, но сам лес покоился в густом мраке. На первом плане, вблизи ряда костров, группировались на цыновках и голой земле туземцы в самых разнообразных по-

зах и положениях. Около них были табиры и некоторые из туземцев, закинув голову назад, стоя допивали последние капли кеу из небольших чаш. Другие сидели и полулежали с неподвижными, мутными глазами, продолжая глотать зеленый опьяняющий напиток. Были и такие, которые уже спали в самых разнообразных позах, но некоторые из туземцев продолжали все-таки хлопотать около горшков, в которых варилось кушанье. Отъявленные любители папуасской музыки, подняв высоко над головой или прислонив к деревьям свои бамбуковые трубы, более чем в два метра длиной, издавали протяжные завывающие звуки. Другие дули в продолговатый, просверленный сверху и сбоку кокосовый орех и производили резкие свистящие звуки. Кругом, к стволам деревьев были прислонены копья, а луки и стрелы торчали из-за кустов. Картина была в высшей степени своеобразная, представляя сцену из жизни дикарей во всей ее первобытности—одна из тех картин, которые вознаграждают путешественника за многие труды и лишения!

Скоро собралось значительное число жителей Бонгу, Горенду и Гумбу. Они накинулись на кушанья, принесенные в больших табирах. Из одного табира мне было положено в свежее-отколотую половину кокосовой скорлупы немного желтовато-белой массы, причем меня уверяли, что это очень вкусно. Это был „буам“—саго из саговой пальмы с наскобленным кокосовым орехом. Это папуасское кушанье действительно имело приятный вкус. Скатертью служили банановые листья, тарелками и чашами — скорлупы кокосовых орехов, вилками — обточенные бамбуковые палочки и заостренные кости, ложками же служили яруры. Оригинально было видеть такое разнообразие инструментов, употребляемых здесь при еде.

Уже совсем рассвело и, рассматривая окружающих, я везде встречал знакомые лица из соседних деревень. Когда я поднялся, чтобы уйти, мне был дан целый сверток вареного аяна и послышались приглашения притти обедать. Мне пришлось посторониться, уходя, чтобы дать пройти процессии, которая несла припасы для продолжения праздника. Туй с Бонемом принесли на палке большой сверток буама, тщательно завер-

нутый в листья. За ними несколько туземцев несли кокосы, а другие пронесли на палке, лежавшей на плечах двух носильщиков, большую корзину аяна, затем другую и третью. Шесть туземцев несли трех свиней, крепко привязанных к палкам, концы которых лежали у них на плечах. Эта процессия двигалась с некоторой торжественностью; припасы же раскладывались по порядку на известных местах площадки. Гости других деревень осматривали и считали принесенное, делая свои замечания. Все это должно было быть съедено за обедом, которым заканчивалось угощение, начавшееся накануне вечером.

Туземцы не знали наверное приду ли я к обеду, поэтому несколько человек пришли ко мне, чтобы снова звать меня в Горенду. Пришлось опять идти в деревню. Я взял с собой обещанный табак, а по дороге должен был уделить его женщинам трех деревень, которые остановили меня и просили дать им табаку. Женщины не принимают непосредственного участия в этих пиршествах. Они едят отдельно и только занимаются приготовлением съестных припасов. Для них, как и для детей, доступ на площадку воспрещен. Так было и в Горенду. Мужчины пировали в лесу, а женщины и дети расположились в деревне и чистили аян.

На площадке было большое оживление. На одной стороне, на циновках лежали куски распластанных свиней, а на другой—два ряда бревен, положенных параллельно. На них были поставлены большие горшки, фута полтора в диаметре. Я насчитал таких горшков 39, в которых варился буам. В середине площадки очищали буам от листьев и других нечистот и скребли кокосы. Жители Горенду, как хозяева, разносили воду в больших бамбуках и складывали дрова около горшков. Я пришел как раз в то время, когда происходил дележ мяса. Оно лежало порциями, нарезанное или оторванное руками от костей. Туй громко вызывал каждого гостя, называя его имя и прибавляя „тамо“ (человек) из такой-то деревни. Названный подходил, получал свою порцию и шел к своему горшку, так как для каждого из гостей пища варилась в особом горшке. Не успел я сесть возле одной группы, как раздался голос Туя: „Маклай, тамо русс“. Я

подошел к нему и получил несколько кусков мяса, положенных на зеленый лист.

Один услужливый знакомый туземец из Бонгу указал мне назначенный для меня горшок, но, увидев, что я остановился перед ним в раздумьи, не очень довольный, что мне надо самому варить свою порцию, как делали это все гости, он об'явил, что сделает это для меня и сейчас же принялся за дело. Он сорвал с соседнего дерева два больших листа и положил их крест на крест на дне горшка. Затем он вынул из большой корзины несколько кусков очищенного аяна и положил вниз, а сверху положил куски свинины. Его сменили двое других туземцев, наполнявшие поочередно все горшки аяном. Когда все горшки были таким образом наполнены, жители Горенду, исполнявшие как хозяева роль слуг, вооружились большими бамбуками, наполненными морской и пресной водой и стали разливать воду в каждый горшок, причем морской воды они лили приблизительно одну треть и доливали две трети пресной. Каждый горшок был сперва прикрыт листом хлебного дерева и затем один из молодых людей Бонгу стал разводить огонь под горшками. Все делалось по установленному правилу и в большом порядке. То же самое происходило и при разведении большого костра, на котором должно было вариться кушанье. Костер был не менее 18 метров в длину и один метр в ширину. Топливо было так хорошо расположено под бревнами, на которых стояли горшки, что оно скоро вспыхнуло.

Я пошел посмотреть, что делается в других группах. В одной из них несколько туземцев усердно скребли кокосовый орех, предназначенный для буама, варившегося в особенных больших горшках. Около другой группы лежали разные музыкальные инструменты, которые все одинаково называются туземцами „ай“. Главный из этих инструментов состоит из бамбука длиной в два метра и более. Бамбук хорошо очищен и перегородки внутри его уничтожены. Один конец этих длинных труб пауасы берут в рот, растягивая значительно губы и дуют или вернее кричат в них, издавая пронзительные протяжные звуки, немного похожие на завывание собак. Звук этих труб можно слышать за полмили.

Другой инструмент, называемый „орлан-ай“, состоит из ручки, к которой прикреплено много шнурков, с нанизанными на них скорлупами орлана (особый вид ореха, мякоть которого быстро начинает бродить и образует в короткое время кислую и дурно пахнущую жидкость, очень ценимую папуасами как приправа). Держа ручку и потрясая инструментом, туземцы производят такой звук, как будто они трясут большими деревянными чашками. Затем — „монки-ай“, пустая скорлупа кокосового ореха, с отверстиями наверху и сбоку, которые попеременно закрываются пальцем. Приложив к губам орех, туземец дует в верхнее отверстие и производит резкий звук, который меняется под влиянием открывания и закрывания бокового отверстия и также в зависимости от величины кокосового ореха. Имелось, конечно, еще несколько других инструментов, но эти три инструмента были все же самые главные. Все участники этого папуасского пиршества, отрываясь временами от работы, принимались за какой-нибудь из этих инструментов и старались показать свое искусство по возможности более оглушительным образом, чтобы превзойти, если можно, все предшествовавшие и раздиравшие уши звуки.

Я пошел в деревню посмотреть, что там делается. Женщины все еще чистили аян, отщипывая по временам внутренние слои бамбуковой пластинки, которая служила им вместо ножа, вследствие чего край пластинки снова делался более острым. Эти туземные ножи режут очень хорошо и я убедился в этом, так как нечаянно вырезал себе накануне из пальца кусок мяса. В деревне было жарко, там было гораздо меньше тени, чем в лесу и уставшие от работы женщины пристали ко мне с просьбой дать им табаку. Мужчин нигде не было видно и поэтому они были гораздо менее церемонны, чем обыкновенно, когда тут находятся их мужья, отцы и братья. Доступ женщинам на площадку, также как и мальчикам, строго воспрещен.

Несколько раз в продолжение дня туземцы, обращаясь ко мне, называли меня Туй, а Туя Маклаем. На мое замечание, что я Маклай, а не Туй, один из туземцев объяснил мне, что я заболел о Туе во время болезни и исцелил его. Поэтому

Туй готов решительно все делать для меня и теперь мы такие друзья, что Туй называется Маклаем, а Маклай Туем.

После этого праздника мне удалось, наконец, съездить в Били-Били, куда я давно собирался. Меня встретили там очень радушно и почти все мужское население сопровождало меня. Не видя женщин, но желая также познакомиться и с ними, а главное—избавить их от необходимости прятаться при моем приближении, я потребовал, что они сами вышли получить подарки, которые я привез для них. Один из самых влиятельных туземцев в Били-Били, по имени Каин, не раз бывавший у меня и в Бонгу, узнав от меня, что женщины Гумбу, Горенду, Бонгу и других деревень больше не прячутся от меня, уговорил и жителей Били-Били согласиться мое желание. Тогда на зов мужчин несколько старух вылезли из хижин. Это были почти голые и некрасивые существа. Мне об'яснили, что большинство женщин работает на плантациях на материке, но что они скоро вернутся. Действительно женщины и девушки скоро вернулись и окружили меня, громко выпрашивая дать им бусы и красные тряпки, такие, как те, которые они видели у старух, получивших их от меня утром. Женщины на острове Били-Били очень деятельны; на них лежит приготовление или выделка горшков, которые развозятся и вымениваются их отцами и мужьями в береговых деревнях. Вообще остров Били-Били славится по всему берегу Новой Гвинеи на несколько десятков миль своим производством горшков. Почти каждая семья занимается этим и у каждой хижины, под крышей, стоят ряды готовых и полуготовых горшков.

Я шутя сказал им, что может быть перееду жить в Били-Били. Жители выразили при этом величайшее удовольствие и повторяли, что „Маклай будет жить в Били-Били, что люди Били-Били лучше, чем люди Бонгу“ и т. д. и т. д. Когда я собрался уезжать, вдруг пошел сильный дождь и я решил остаться ночевать в Били-Били, что, повидимому, доставило большое удовольствие жителям деревни. Я попросил указать мне место, где я мог бы провести ночь и мне предложили хижину или, вернее, какуту на одной из вытященных на берег

больших пирог (рис. 5). Эти пироги интересны своей постройкой, но от малых пирог отличаются только своими размерами. Длина некоторых из них приблизительно около 10 или 12 ме-

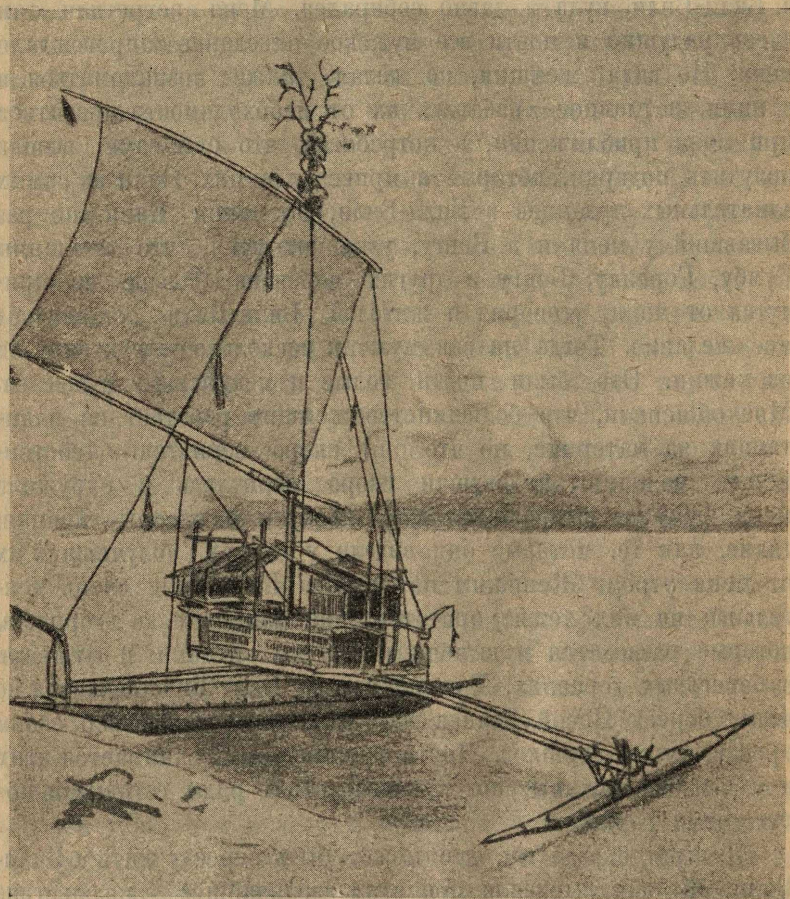


Рис. 5. Большая пирога с домом.

тров и они, подобно малым пирогам, выдолблены из одного толстого ствола. На большой пироге построена целая хижина, длиной в два метра, а шириной в 4 или 5. Стены ее делаются из расколотого бамбука, а крыша из сплетенных

листьев саговой пальмы. Мачта разделяла хижину на две части, по обеим сторонам которых находились два длинных сиденья, где, лежа, могли поместиться двое. На полу также могли лежать два человека. Верхняя половина хижины имела разборные стены, даже крыша могла быть разобрана в очень короткое время. Вообще все в пироге было прилажено очень удобно и нигде в этой хижине не было напрасной траты места. У самой мачты, на высоте сидения, был укреплен плоский ящик, наполненный землей, где, в случае надобности, можно было совершенно безопасно разложить огонь. Мне показалось очень удобным такое помещение, в котором было светлее и чище, чем в хижине и у меня явилась мысль воспользоваться современным подобной большой пирогой для посещения деревень вдоль берега.

Каин, хозяин пироги и мой хороший приятель, скоро принес мне большой табир с дымящимся саго и наскобленным кокосовым орехом.

Вернувшись на другой день утром на свой берег, я не без чувства тревоги и любопытства поднялся к своей хижине, которую в первый раз оставил так надолго без всякого присмотра. Все, однако, оказалось целым, и не успел я распутать веревки у дверей, как один за другим пришли человек двадцать туземцев, которые с удивленными лицами спрашивали меня, где я был? Они сказали мне, что думали, не уехал ли я в Россию. После обеда мы выгрузили подарки, привезенные мною из Били-Били. Оказалось около 50 кокосов, 4 ветки хороших бананов и фунтов 20 саго. Табак и гвозди, розданные мной, окупились.

Я становлюсь понемногу пауасом. Сегодня утром, например, я почувствовал голод во время прогулки и, увидев большого краба, поймал его и с'ел сырого, т.-е. с'ел то, что можно было в нем с'есть.

Мои соседи рассказывали мне, что люди Ануг и Тамо-Ануг (где они живут — я не знаю) хотят напасть на мою хижину. Они слышали, что у меня много ножей, топоров и красных „маль“, а нас всего двое: я и Ульсон. Уверенный, что это может случиться не без согласия моих знакомых из Бонгу или Гумбу, которые будут весьма не прочь разделить

с ними добычу, я решил обратить все это в шутку и спокойно ответил, что не мне будет худо, а тем, которые придут ко мне с подобными намерениями. Между тем большое число жителей окрестных деревень приходили просить меня, чтобы я навсегда остался с ними, взял бы одну, двух, трех или сколько пожелаю жен, и не думал бы уехать снова в Россию или куда-нибудь в другое место. Они говорили так серьезно один после другого, что очевидно пришли с этим предложением ко мне после долгих общих совещаний. Я им отвечал, что если я и уеду (в чем, однако, я не был уверен), то вскоре вернусь опять, а жен мне не нужно, так как „женщины слишком много говорят и вообще шумливы и что Маклай этого не любит!“ Это их не очень удовлетворило, но они очень остались довольны табаком, который я роздал членам этой своеобразной делегации.

Сегодня, 20-го сентября, исполнился ровно год, как я вступил на берег Новой Гвинеи. В этот год я подготовил себе почву для многих лет исследования этого интересного острова, достигнув полного доверия туземцев и в случае нужды могу быть уверен в их помощи. Я готов и рад был бы остаться несколько лет на этом берегу. Но существуют три обстоятельства, заставляющие меня сомневаться в том, будет ли это возможно. Во-первых, у меня истощается запас хины, во-вторых, я ношу последнюю пару башмаков, а в третьих, у меня осталось не более как сотни две патронов.

В провизии у нас тоже чувствуется недостаток. Вот уже шесть месяцев, как Ульсон и я, каждый вечер кладем на костер большое бревно, чтобы поддержать огонь до следующего утра, так как приходится быть экономным со спичками, чтобы не дойти до необходимости бегать в Горенду в случае, если костер погаснет. Иногда мы заменяем обыкновенное дерево обрубком, долго пролежавшим в воде, и совершенно как папуасы собираем белый пепел, который и употребляем вместо соли. Я, впрочем, легко и скоро отвык от соли и не замечаю никакого вреда от ее недостатка. Остатки провизии, бобы и рис, я решил сохранить исключительно на те дни, когда не буду в состоянии идти на охоту, а Ульсон, также по случаю нездоровья, не сможет идти за провизией

в деревню. Вместо бобов и риса мы питаемся корнями ямса, сладким картофелем и бананами. Иногда, если нет дичи, приходится голодать, и я уже не раз видел во сне, под влиянием голода, что роскошно обедаю или ужинаю...

В октябре и ноябре положение еще ухудшилось. Идут дожди. Течет на постель, на стол и книги... Провизия вышла, хина на исходе, капсуль остается около сотни, так что ходить на охоту каждый день нельзя. Я беру по две капсулы каждый раз, но не всегда приношу две птицы. Спирту у меня не осталось. Донашиваю последнюю пару башмаков. Лихорадка сильно истощает, да к тому же хижина приходит в плачевное состояние. Боковая веранда уже обрушилась и я думал, что вся хижина валится. Дождь шел весь день, так что поправить веранду было невозможно.

Я уже порядочно говорю на языке Бонгу, но все-таки мне еще потребуются годы, чтобы действительно ознакомиться с образом мышления и с образом жизни этих людей.

Меновая торговля.—Семейная жизнь.

У туземцев берега Маклая нет ни торговли, ни правильного обмена. Если несколько жителей прибрежной деревни отправляются в другие прибрежные деревни, на острова или к жителям гор, то они забирают обыкновенно с собой все, что у них имеется в избытке, и несут это в виде подарка. При уходе они получают ответные подарки, состоящие из продуктов, которые всего чаще имеются в той деревне. Жители горных деревень богаты ореховыми пальмами и табаком; поэтому они приносят эти продукты в прибрежные деревни и получают взамен гончарные изделия, рыбу и соль в виде кусков соленого дерева. Островитяне же готовят преимущественно горшки и мали (ткани), которые они охотно обменивают на продукты плантаций прибрежных жителей. Эти островитяне служат также посредниками в обмене продуктов между прибрежными деревнями, расположенными далеко одна от другой. Обычай обмениваться подарками так укоренился, что даже жители соседних деревень приносят почти каждый раз, при своих частых посещениях, что-нибудь своим приятелям и получают от них тоже подарок при уходе.

Папуас берега Маклая женится рано, имеет обычно только одну жену и в нравственном отношении ведет очень строгую жизнь. Процесс женитьбы очень прост. Жених приносит, с согласия своей семьи и семьи невесты, подарки: 5—10 табиров, редко больше, несколько малей и т. п. вещей. Спустя несколько дней режут свинью или собаку, устраивают праздничный обед, и жених переводит невесту в свою хижину. Но еще легче устраивается развод: если жена оказывается неспособной к работе, например, вследствие болезни ноги, затрудняющей ходьбу,

тогда муж попросту отправляет ее и берет себе другую. Но в общем мужья хорошо обходятся с женами и лишь изредка колотят их. Жена должна ежедневно приносить с поля плоды и собирать дрова на ночь для огня. Она же таскает воду с морского берега или из ручья. Часто, по вечерам, можно видеть женщин, возвращающихся с поля тяжело нагруженными. На спине у них висят два мешка: нижний с плодами, верхний с ребенком. На голове, которая у них сильно нагнута вперед от веревок, обхватывающих лоб и удерживающих мешки, они несут еще большие вязанки сухих дров. В правой руке они часто кроме того держат пучок сахарного тростника, а на левой руке у них подвешен иногда еще другой ребенок. Такой груз при жаре и неудобных узких тропинках должен очень утомлять. Свежесть и здоровье молодой женщины скоро исчезают. Дети обычно веселы, редко плачут и кричат. Отец обращается с ними очень хорошо, но мать большею частью бывает менее нежна к ним, пежеля отец. Вообще же у папуасов любовь к детям очень сильна. Я видел у них даже игрушки, что у дикарей встречается редко, например: род кубарей, маленькие лодочки, которые дети пускали по воде и много других игрушек. Но мальчик уже рано сопровождает отца на плантации, а также в его скитаниях по лесу, и в его поездках на рыбную ловлю. Ребенок уже в детстве научается практически своим будущим занятиям и еще маленьким мальчиком становится серьезным и осторожным в обращении.

Мне частенько приходилось видеть комичную сцену, как маленький мальчуган, лет четырех, пресерьезно разводил огонь, носил дрова, мыл посуду, помогал отцу чистить плоды, а потом вдруг вскакивал, бежал к матери, сидевшей на корточках за какой-нибудь работой, схватывал ее за грудь и, несмотря на ее сопротивление, принимался сосать. У папуасов всюду распространен обычай кормить детей грудью очень долго.

Туземцы начинают свой день на рассвете. Они любят крик петуха, возвещающий близость дня, и держат поэтому петухов в деревнях. Если папуасу не нужно отправляться далеко в лес или в горы, то он, еще в темноте, идет, завер-

нувшись в свой маль, на берег моря и ожидает там восхода солнца, с'ежившись и дрожа от холода. Так на берегу собирается обыкновенно целое общество туземцев, которые лишь изредка обмениваются словами. Обыкновенно же все молчат и так же молча расходятся. Когда солнце поднимется выше, папуасы возвращаются в деревню, где и приказывают своим женам или детям принести себе остатки вчерашнего ужина или же варят себе немного свежей пищи. Женщины готовятся идти работать на плантации, они замыкают бамбуковыми палками и циновками двери своих хижин, забирают свои мешки, свои орудия, сажают своих ребят в детский мешок и не забывают захватить при этом с собой и тлеющую головню. Затем, по несколько вместе, в сопровождении детей и собак, женщины покидают деревню, болтая друг с другом. Мужчины остаются перед своими хижинами, спокойно поедают свой завтрак, после чего жуют бетель и курят свои зеленые сигары. В деревне в это время бывает очень тихо, хотя в ней еще осталось много мужчин. Около десяти часов утра и мужчины начинают расходиться; одни идут на плантации, другие на рыбную ловлю, третьи—в соседние деревни. Все они вооружены луком и стрелами, иногда и копьем, хотя при этом они нагружены еще обычно и различными другими орудиями, рыболовными сетями, веслами и т. п. Они также запирают свои хижины.

Если притти в деревню в полдень, то часто можно не найти в ней ни одного человека; только несколько собак и свиней, которые посмотрят на прищельца и тотчас же исчезнут в кустах. Все хижины заперты и только „буамрамра“ манит своей прохладой, точно приглашая растянуться на широкой барле и отдохнуть. Около 4 или 5 часов слышатся шаги мужчин, возвращающихся с работы или с своих прогулок. С них еще струится вода, так как перед приходом в деревню они искупались в соседнем ручье и даже натерлись вместо мыла песком и травой. Придя в деревню, мужчины растягиваются на своих барлах и выжидают наступления времени для варки пищи. Папуасов нельзя назвать нечистоплотными; они купаются ежедневно, даже по несколько раз в день и часто натираются песком и травой. Крикливые голоса в лесу

возвещают скорое прибытие женщин, которые с тяжелой ношей, в поту, подходят к хижинам, сбрасывают вязанки дров и осторожно снимают мешки с детьми и плодами. Скоро зажигаются огни. Старшие дети помогают родителям приносить горшки и табиры, смотрят за огнем, чистят плоды и раскладывают их по горшкам. Иногда сходятся несколько соседей; каждый приносит несколько плодов и овощей и, вместо нескольких малых горшков, все варят в одном большом горшке. За это время девушки приносят пресную и соленую воду в бамбуковых стволах. Прежде чем положить или налить что-нибудь в горшок, кладут в него тонкий или сухой лист, чтобы предохранить овощи от пригорания на дне горшка. Также кладут в горшок и содержимое бамбуковых банок, которые мужчины носят с собой во время своих прогулок. Содержимое это бывает иногда очень разнообразно: там можно найти жуков, улиток, раков, крабов, гусениц, маленьких ящериц, и т. п. Все это бросается в горшок вместе с землей и сухими листьями, попавшими туда случайно. Еще живые животные пытаются вылезти, но в горшоксыпают аян, бау или дегарголь, наливают две трети пресной воды и одну треть морской, накрывают горшок зелеными листьями и скорлупой кокосового ореха и ставят на огонь. Смотря по содержимому, горшок стоит на огне час или более. Мужчины ломают сухие тонкие поленья на колене или на большом камне, женщины на голове.

Когда кушанье готово, ставят горшок с круглым дном на соломенный кружок. Хозяин распределяет пищу в поставленные кругом табиры; лучшие куски достаются гостям и ему, худшие детям и женам. Даже с наступлением темноты огня не увеличивают, не делают его более ярким, а сидят в темноте и медленно жуют и едят трудно перевариваемую пищу. Чтобы получить некоторый вкус соли, пьют, приложив табир к губам, жижу, в которой были сварены в небольшом количестве морской воды гусеницы, пауки и ящерицы. Женщины удаляются в свои хижины и по временам слышатся крики детей и тихая беседа мужчин, жующих свой бетель и курящих сигары. Но эти звуки скоро умолкают. Мужчины разводят в хижинах небольшие огни под своими барлами и засыпают. Впрочем, им приходится

часто вставать ночью, так как огонь под ними нередко гаснет и холод ночного воздуха будит их.

Так проходят дни за днями у жителей берега Маклая. Перемены вносят только войны, посещения соседних деревень и праздники, которые устраиваются в их собственных деревнях или у соседей.

Туземцы раскрашивают себе лицо красной и черной краской. Красную употребляют больше молодые, черную пожилые люди. Молодые люди (маласси) от 15 до 30 лет придумывают разные рисунки и смешения красок, которыми они покрывают лицо и спину. В обыкновенные дни они ходят нераскрашенные или только обводят вокруг глаз кружки или же проводят вдоль носа черту, которая соединяется с другой чертой, проведенной от одного виска к другому на месте сбитых бровей, у основания лба. Но во время праздников все лицо намазывается красной краской, по которой проводится еще несколько белых и черных черточек. Всего чаще проводится черта внизу лба, которая соединяется накрест с чертой, проведенной вдоль спинки носа. Иногда одна половинка лица бывает окрашена в черный цвет, а другая в красный, что производит своеобразное впечатление. Затем от затылка проводят несколько параллельных линий вдоль спины, до талии. На лопатках часто бывают изображены отдельные фигуры, но грудь раскрашивается редко и еще реже проводится несколько цветных линий на ногах. Более старые туземцы, свыше 30 лет (гамо), почти не употребляют красной краски и заменяют ее черной. Они красят ею волосы, лоб и проводят полосу вдоль носа, до его кончика. В особенных же случаях они красят лицо или всю голову. Однако, есть деревни, где изобилует черная краска. Там туземцы намазывают ею все тело и притом делают это так старательно, что можно принять ее за натуральный цвет кожи. Так, например, несколько человек из Кар-Кара, посетивших меня, были сплошь покрыты ею, что придавало им совершенно своеобразный вид.

Женщины редко появляются накрашенными и у них не замечается такой моды в окраске, как у мужчин. Татуировки у них нет, но они выжигают у себя на теле рубцы. Мужчины делают это на спине и на ляжках, а женщины по обеим

сторонам груди и на руках, распределяя их в виде линий. Для получения таких рубцов туземец ложится на спину или на живот, а оператор зажигает маленький кусочек сухой коры и кладет его раскаленным, но не горящим, на кожу, пока кора не обратится в золу. Таким образом сжигают несколько кусочков подряд. Но эта процедура требует много терпения и значительной силы воли для преодоления боли.

Мужчины украшают себя гораздо больше, чем женщины, костюм которых бывает порой сведен до минимума и ограничивается маленькой кисточкой или даже раковиной, висящей спереди. Мужчины же тратят пять—шесть часов на расчесывание своих волос, смазывание их и окраску, украшение перьями и цветами и расписывание лица и спины. Они стараются оббивать свои мали как можно туже и засовывают за свои наручники и ножные браслеты ветки пестролистных растений.

Женщинам в торжественных случаях предоставляется немного краски, которою они намазывают себе волосы, лоб и щеки. Но зато они носят в таких случаях много ожерелий из больших и малых раковин, собачьих зубов и разноцветных косточек плодов.

От'езд из Новой Гвинеи.

Я был на празднике в Бонгу 18-го декабря и так как запоздал, то остался ночевать в буамрамре. Ночью меня много раз будила музыка и крики, которые не прекращались. Но на рассвете я услышал на некотором расстоянии от буамрамры возгласы: „Биа! Биа!“ (огонь, огонь!). Несколько туземцев вошли в буамрамру очень встревоженные и заявили мне, что около Кар-Кара виден огонь или дым от огня.

— Ну так, что же!—сказал я потягиваясь все еще не вставая.—Ведь люди Кар-Кара жгут „унан“ (траву)?

— Нет, этот дым не в Кар-Кара,—возразили мне.— Он выходит из моря. Скажи, Маклай, что это такое?

— Я посмотрю и потом скажу,—отвечал я.

Но тут прибежали несколько человек, крича:—Маклай, о, Маклай! корвета—русс гена, биарамборо (Маклай, о, Маклай, корвет русский идет, дым большой).

Однако, я все еще не верил. Одевшись, я пошел к морю и тут увидел, что дым принадлежал большому пароходу, вероятно военному судну, но я не мог разобрать, какому. Можно было видеть, что судно приближается и во всяком случае мне надо было поспешить домой, поднять флаг у хижины, переодеться и отправиться на встречу судна. Какой бы ни было национальности это судно, все же я ни минуты не сомневался, что командир его не откажется взять мои письма, уделить мне немного провизии и отвести больного Ульсона до ближайшего порта, посещаемого европейскими судами. Все это я обдумал, сидя на пироге, отвозившей меня из Бонгу домой.

Ульсон еще лежал на своей койке и по обыкновению охал. Но когда я ему сказал, что мне нужен флаг, что приближается

военное судно, то он пришел в такое состояние, что я подумал, уж не сошел ли он с ума. Он что-то несвязно болтал, не то плакал, не то смеялся, так что я не на шутку испугался, что с ним случится какой-нибудь припадок. Я поспешил поднять русский флаг на флагштоке, сделанном еще матросами с корвета „Витязь“ и как только флаг был на месте, я увидел, что судно направилось прямо к берегу, где стояла моя хижина. Я вернулся в мою комнату, хотел переодеться, но нашел это совершенно лишним. Платье, которое я мог бы надеть, было несколько не лучше того, которое было на мне. Я сошел вниз к песчаному берегу и мне стоило не малого труда убедить троих туземцев отправиться со мной на встречу приближавшемуся судну.

Я уже мог различить русский флаг. Мои туземцы, Сагам и Дигу гребли очень медленно. Они следили за движениями судна и не переставая умоляли меня вернуться на берег. Я мог уже видеть офицеров на мостике, смотрящих на меня в бинокль. Наконец, мы настолько приблизились к судну, которое шло теперь малым ходом, что я уже мог различить невооруженным глазом несколько знакомых лиц между офицерами. Они тоже узнали меня. Но мое внимание было отвлечено состоянием моих спутников-туземцев. Вид такого большого количества людей привел их в сильное волнение. Когда же по приказанию командира судна матросы были посланы по реям и когда они прокричали троекратное ура, то мои папуасы не выдержали, выпрыгнули из пироги в море, и вынырнув далеко от нее, стали поспешно плыть к берегу. Весла они, или захватили, или бросили в море, так что я остался на пироге один и должен был кое-как, гребя руками, приблизиться к судну и поймать брошенный мне конец каната.

Когда я, наконец, взобрался на палубу, то общая суматоха и множество людей странно подействовали на меня. Все были очень любезны со мной, но говор кругом очень утомлял меня. Я узнал, что в Европе распространился слух, что я убит или умер и даже некоторые офицеры признались мне, что, увидя человека в европейском платье, выехавшего к ним на встречу, они думали, что это Ульсон, так как были уверены, что меня нет в живых.

Приход судна был так неожидан, что я еще не составил себе плана о том, что мне надо предпринять. Моей первой мыслью была, просить дать мне матросов, чтобы с их помощью поправить мою хижину, достать новый запас провизии у командира судна и остаться здесь, чтобы продолжать наблюдения, отослав до следующего порта никуда негодного Ульсона.

Я вернулся на клипер „Изумруд“ к обеду и тогда командир его сказал мне, что он желал бы, чтобы я уже с сегодняшнего дня поселился на клипере, так как мое здоровье оставляет желать многого. Я же несколько удивился такому предложению.

— А кто вам сказал, что я поеду с вами? — возразил я. — Это далеко еще не решено. Так как я думаю, что вы можете уделить мне немного провизии и можете взять с собой Ульсона и мои письма до ближайшего порта, то мне всего лучше будет еще остаться здесь и продолжать свои наблюдения. Я попрошу вас позволить мне завтра ответить вам, отправлюсь ли я с вами или еще останусь здесь.

Командир согласился, но я заметил, что мои слова произвели на многих странное впечатление. Некоторые подумали, — как признались мне сами потом, — что я нахожусь в ненормальном состоянии, под влиянием разных лишений, и трудной жизни. Я узнал, между прочим, от командира, что голландское правительство посылает военное судно с учеными целями вокруг острова Новой Гвинеи и это сильно заинтересовало меня. Я мог бы, таким образом, подкрепив свое здоровье, вернуться с новыми силами и новыми запасами на берег Маклая.

Я рано вернулся домой в этот день и заснул, как убитый, потому что был очень утомлен, отложив до утра решение вопроса, оставаться мне или ехать. Во всяком случае одно мне казалось безусловно необходимым: я должен был вернуться сюда опять, так как вследствие моего знакомства с туземным языком и заслуженного мною у туземцев доверия, мне теперь будут значительно облегчены мои дальнейшие наблюдения.

На следующий день я объявил командиру мое решение ехать, но просил дать мне еще два дня на сборы, на упа-

ковку вещей и прощанье с туземцами. Вечером пришли ко мне с факелами много людей из Бонгу, Горенду и Гумбу. Между ними были также жители Мале и Коликум-Мана, пришли все те, кто чаще бывал у меня. Они сокрушались о моем от'езде и, наконец, решили просить меня остаться с ними, не уезжать, а поселиться на этом берегу, говоря, что в каждой деревне мне будет построен дом и в каждой деревне я могу выбрать из девушек по одной жене или даже по две, для своего дома, чтобы работать для меня.

Я отклонил это предложение, но обещал им, что вернусь современем и опять буду жить с ними.

Люди Гумбу стали упрашивать меня итти к ним в деревню, где, кроме местных жителей, собрались и жители других деревень. Они говорили, что все желают меня видеть. Не желая отказать им, может быть в последний раз, я пошел, окруженный большой толпой туземцев с факелами в руках.

Все просили меня остаться, не уезжать, спать пришлось мне мало в эту ночь и когда к утру я хотел подняться, то почувствовал значительную боль в ногах. Последние два дня я много ходил и не обращал внимания на раны на ногах. Ноги у меня опухли и мне трудно было ходить. Однако, я все же решил итти по берегу, чтобы пораньше вернуться домой, но, пройдя немного, почувствовал такую сильную боль в ногах, что должен был остановиться. Провожавшие меня туземцы устроили из нескольких перекладин род носилок и перенесли меня на них до мыска, а оттуда я был перевезен на клипер. Там, я наконец, отдохнул и мои раны были обмыты и перевязаны.

По приказанию командира, на одном из деревьев около моей хижины была прибита толстая доска красного дерева и на ней укреплена медная дощечка со следующей надписью: „Vitiaz“. Sept. 1871, Miklouha-Maclay „Jzoum-rud“ Dec. 1872. „Из этой надписи было видно, что я приехал на корвете „Витязь“ в сентябре 1871 г. и уехал на клипере „Изумруд“ в декабре 1872 г.

Я уговорил туземцев приехать на клипер, осмотреть его и многие явились ко мне, но лишь весьма немногие из

них действительно отправилось со мной на клипер и еще меньшее число отважилось взобраться на палубу. Но там вид множества людей и разных аппаратов, им незнакомых, так испугал их, что они со всех сторон ухватились за меня, думая, что таким образом они будут в безопасности. И вот я придумал средство удовлетворить их и в то же время не быть стесненным в своих движениях, я попросил одного из матросов принести мне веревку. Середину я обвязал себе вокруг талии, а оба конца веревки предоставил моим папуасам. Таким образом я мог идти вперед, а мои папуасы воображали, что держатся за меня. С таким хвостом, беспрестанно останавливаясь, чтобы отвечать и объяснять туземцам разные предметы, мы обошли всю палубу. Пушки пугали туземцев; они от них отворачивались и переходили к другим предметам. Их особенно поразили и заинтересовали два небольших бычка, которые были на корабле в качестве живой провизии для команды. Они не могли наглядеться на них и просили подарить им одного из них. Спросив название, они старались запомнить его и все повторяли: „бик-бик-бик“. В кают-компании им чрезвычайно понравились большие зеркала, в которые они могли увидеть сразу несколько человек. Фортепиано, которое я назвал им „Ай-боро-рус“ тоже очень их заинтересовало, и один из них даже захотел сам попробовать его. Я, однако, поспешил поскорее выпроводить их наверх. На палубе одному из туземцев захотелось опять посмотреть на быков. Он обратился ко мне, но, забыв название „бык“ стал спрашивать меня о „большой русской свинье“. Я не понял его и ответил, что никакой свиньи на корабле нет. Тогда, чтобы пояснить мне, он прибавил, что хочет видеть „большую русскую свинью с зубами на голове“. Один из его товарищей подсказал ему слово „бик“ и тогда они все хором затаили „бик“, „бик“! Видя, что они достаточно уже освоились с кораблем,—я освободился от веревки и предоставил им свободно разгуливать по палубе.

Мои последние вещи были перевезены на корабль, и я, как больной, был помещен в лазарет. Перед отъездом Туй просил сказать ему, через сколько месяцев я вернусь. Конечно, я не мог дать ему определенного ответа и притом не

знал, как сказать на туземном языке „много“. Я ответил ему „навалобе“, что означает приблизительно: „современем“.

В день от'езда уже с самого утра несколько пирог окружали корабль и мне постоянно докладывали, что „черные“ хотят видеть меня или зовут меня. Когда я выходил на палубу, туземцы начинали кричать, но шум якоря, который стали подымать и несколько оборотов винта разогнали скоро все пироги. Их крики уже стали доноситься ко мне не столь ясно. Когда мы огибали мысок, то слышались удары барума в Горенду и Бонгу и скоро к ним присоединился и барум Гумбу. Удаляясь постепенно, мы все еще долго слышали звуки барума, а когда мы проходили Били-Били, то я мог ясно различить в бинокль туземцев, которые сидели, стояли и ходили вдоль скалистого берега...

Вторичное путешествие в Новую Гвинею в 1874 году.

Прошло немного более года после возвращения Миклухи-Маклая из Новой Гвинеи, как он уже снова собрался в свое второе путешествие туда же, но на этот раз его целью был юго-западный берег острова. Этот берег носит различные названия и населен независимыми инородцами. Папуасы берега Папуа-Оним живут оседло и чаще посещаются торговцами. Папуасы же берега Папуа-Ковнай ведут жизнь бродячую и пользуются дурной репутацией вследствие частых войн, убийств и грабежей торговых экспедиций. Поэтому берег Папуа-Ковнай избегают посещать даже малайские торговые суда, называемые „прау“. Но именно это обстоятельство, более редкие посещения, меньший наплыв торговцев и следовательно меньшее влияние чуждого элемента, заставили Миклуху-Маклая выбрать этот берег предметом своего нового исследования, хотя, конечно, это было рискованное предприятие. Однако, папуасы этого берега, хотя и были изумлены намерением Миклухи-Маклая жить между ними, все же обходились с ним дружелюбно и даже почтительно.

Папуасы Ковнай ведут жизнь кочевую, переезжая на своих пирогах от одного берега к другому, из одного залива в другой и хижина Миклухи скоро сделалась центром, около которого постоянно теснились пироги жителей соседних островков Наматоте, — Айдумы и Мавары, приезжавших со своими старшинами.

Познакомившись с окрестностями, Миклуха-Маклай решил предпринять более далекую экскурсию на урумбае. Так называются местные суда, с небольшой каютой на сре-

дине, на которых нередко жители острова Серам совершают свои торговые поездки. Миклуха оставил одного из своих служителей сторожить свое имущество в хижине вместе с пятью серамцами и отправился вдоль берега на урумбае, затем, остановившись в одной бухте, он, согласно своему обыкновению, пошел в горы один и невооруженный. Он вернулся благополучно из своей экскурсии, но его люди на урумбае стали усиленно просить его не оставаться на ночь у берега, а поскорее выйти в открытое море. На возвратном пути он узнал, что горные жители напали на жителей острова Айдумы, поселившихся временно около его хижины, убили жену и дочь старшины Айдумы и ранили несколько человек мужчин и женщин. Далее, в Наматоте, ему сообщили, что его соседи, жители Мавары и Наматоте воспользовались нападением горных жителей и разграбили его вещи. При этом погибли разные инструменты, аптека, запас хинного вина, платья и консервы.

Миклуха-Маклай решил переселиться на остров Айдума, так как оставаться на прежнем месте было невозможно. Он поселился в очень маленькой хижине, и жил в ней один, потому что его люди боялись проводить ночи на берегу и спали на урумбае, который стоял на якоре вблизи берега. Однако, ему не пришлось пожить тут спокойно. Обстоятельства усложнялись с каждым днем, горные и береговые палуасы действительно еще раз явились на его прежнее местожительство, а затем он узнал, что жители Наматоте хотят напасть на него в Айдуме. Каждый день до него доходили вести, что его люди видели какие-то подозрительные прау, появлявшиеся то здесь, то там, а также замечали свежие следы неизвестных людей, бродивших около его хижины и даже ночевавших вблизи ее, в лесу. Приходилось постоянно быть на страже и носить оружие, что для Миклухи-Маклая было особенно скучно и утомительно. Тем не менее он все же хотел остаться, даже один, потому что никто из людей не соглашался разделить с ним риск дальнейшего пребывания в этих местах. Но одно обстоятельство заставило его изменить свое намерение. Он узнал, что главным виновником грабежа был „капитан Мавары“ (старшина), который скрывался в одной

из прау (местных лодок) и тотчас же у Миклухи-Маклая явилась смелая мысль, которую он немедленно привел в исполнение. Взяв с собой только одного служителя, он отправился на прау. Найдя там „капитана“ и приставив ему револьвер ко рту, он приказал служителю связать ему руки. Разбойник был так ошеломлен и испуган, что не оказал ни малейшего сопротивления. Так же были ошеломлены и папуасы, которые стояли на берегу и видели все, что произошло. После этого, конечно, нельзя было уже медлить. Связанного разбойника посадили на урумбай и через полтора часа судно уже вышло в открытое море.

Спустя пять дней урумбай прибыл на остров Кильвару и Миклуха передал своего пленника местному начальнику с приказанием держать его в заключении до прибытия голландского чиновника. Но и самому Миклухе-Маклаю пришлось остаться там почти месяц и ждать прибытия голландского военного судна. Это судно доставило его на Амбоину, где он заболел и прожил еще месяц. Там его нашел капитан Моресби, прибывший на английском военном судне. Миклуха-Маклай находился в таком жалком болезненном состоянии, что, по словам капитана Моресби, все сомневались в том, чтобы он мог поправиться. Однако, он выздоровел и, прожив потом некоторое время в Батавии, задумал даже новое путешествие на Малакский полуостров.

Своих приятелей папуасов Миклуха-Маклай посетил только в 1876 году. Он прибыл туда на маленькой торговой шхуне „Морская птица“, плававшей под английским флагом. С капитаном этой шхуны он заключил условие, согласно которому капитан должен был заехать за ним туда по прошествии шести месяцев.

„Туземцы были очень обрадованы,—пишет Миклуха-Маклай, в своем дневнике,—но они несколько не были изумлены, увидев меня, так как были уверены, что я сдержу свое слово. Когда я с'ехал на берег в Горенду, то вскоре туземцы соседних деревень, не исключая женщин и детей, сбегались приветствовать меня. Многие плакали и все население было очень взволновано моим возвращением. Несколько стариков умерло в мое отсутствие, но зато многие

мальчики стали уже взрослыми людьми, а между молодыми женщинами я узнал нескольких, которых оставил маленькими девочками.

Жители ближайших деревень упрашивали меня поселиться среди них, но я, как и в 1871 году, предпочел устроить свое жилище на некотором расстоянии от деревни Бонгу. На этот раз я привез из Сингапура в разобранном виде небольшой деревянный дом, и только сваи, на которых он должен был стоять, остов и крыша были сделаны на месте.

Я сразу заметил значительное изменение воды горных вершин, а туземцы сообщили мне, что во время моего отсутствия несколько раз повторялись землетрясения на берегу и в горах, причем не мало жителей было убито упавшими кокосовыми деревьями. Кроме того, береговые деревни пострадали от чрезвычайно больших волн, которыми сопровождались землетрясения. Эти волны вырывали деревья и уносили с собой хижины, стоявшие более близко к морскому берегу. Такая катастрофа была лет двадцать тому назад. Одна из таких волн смыла целую деревню вместе со всеми жителями. Так как это случилось ночью, то все жители погибли, за исключением нескольких мужчин, бывших случайно в гостях в другой деревне. Они не хотели вернуться жить на старом месте и переселились в деревню Гумбу, которая избежала разрушения, потому что находилась дальше от берега".

Миклуха-Маклай построил свою хижину вблизи своего прежнего местопребывания и поселился в ней со своими тремя малайскими служителями. Оттуда он предпринимал в сопровождении своих друзей, папуасов, экскурсии по побережью, в ближайшие горы и на соседние острова. Жители Били-Били даже построили ему отдельный дом и отсюда он мог предпринимать более отдаленные поездки, чем во время своего первого пребывания в Новой Гвинее. Он ездил на их пирогах к северу от бухты Астролябии до области предполагаемых людоедов. В деревне Гориму, куда он отправился несмотря на предостережения своих приятелей туземцев, он счастливо избежал опасности благодаря своему мужеству и присутствию духа.

— О, Маклай, не ходи в Гориму, — говорили ему люди в деревне Богати, лежавшей в 4 милях от Гориму по бе-

регу. Один из них, по имени Ур, сказал ему, что встретил двух туземцев из Горимы, которые говорили о нем: о том, что у него много вещей в доме и что если бы люди Бонгу убили его, то могли бы всем завладеть. Двое из жителей Горимы хотят приехать нарочно для того, чтобы убить его и взять с собою то, что смогут.

Выслушав это и хорошенько поразмыслив, Миклуха-Маклай решил, как всегда, идти сам навстречу опасности. Переночевав в Богати, он отправился в Гориму по берегу. Дорога была нелегкая, и два раза ему пришлось переходить в брод речки, причем в одном месте вода доходила ему почти до пояса. Он чуть не заблудился в лесу, но в конце-концов выбрался на берег и там увидел вытащенную на берег пирогу. Несколько голосов доносилось из леса, и Миклуха-Маклай решил подождать возвращения туземцев. Они, конечно, были поражены, увидев его и Миклухе показалось, что они были готовы убежать; поэтому он подошел к самому старшему из них и спросил на диалекте Бонгу: — Вы люди Горимы?

Старик приподнял голову, что Миклуха счел за утвердительный ответ. Назвав себя, Миклуха сказал, что идет в Гориму и хочет поехать с ними.

У туземцев был очень растерянный вид. Миклуха дал каждому из них по куску табаку и они отправились. Расстояние оказалось, однако, гораздо более далеким, чем предполагал путешественник и когда пирога под'ехала к деревне, то солнце стояло уже совсем низко. Дав еще табаку и по одному гвоздю своим спутникам, Миклуха пошел в деревню, сопровождаемый туземцами, встретившими его на берегу. Ни один из них, однако, не говорил на диалекте Бонгу и поэтому ему пришлось объясняться с ними жестами. Миклуха-Маклай положил руку на пустой желудок, затем указал на рот и туземцы поняли, что он хочет есть. Другим жестом он указал им, что хочет спать и его тотчас же увели в буамрамру. Наконец, пришел человек, знавший язык Бонгу и Маклай мог воспользоваться им, как переводчиком. Он попросил его созвать всех главных людей Горимы и когда собралась значительная толпа, Маклай велел подбросить в костер сухих щепок для более сильного освещения буамрамры и когда это

было сделано, он сел на барум около костра, освещающего лица присутствующих и спросил через переводчика, здесь ли находятся Абуи и Малу.

Это были имена тех туземцев, которые, как ему передавали в Богати, хотели убить его. Когда он назвал их, то туземцы стали между собою переглядываться и только через несколько минут Абуи и Малу были позваны. Миклуха-Маклай указал им два места около самого костра, как раз против него и они с видимым нежеланием исполнили его требование. Затем он стал говорить и переводчик переводил его речь почти слово в слово. Он сказал, что услышал от людей Богати, что двое людей Горимы, по имени Абуи и Малу, хотят его убить. Поэтому он пришел в Гориму, чтобы посмотреть на этих людей. Он стал поочередно смотреть на обоих и они каждый раз отворачивались, когда встречали его взгляд.

— Это очень дурно, — прибавил он, — так как я ничего не сделал ни Абуи, ни Малу и никому из людей Горимы. Теперь, пройдя пешком от Богати до Горимы, я очень устал и хочу спать. Я сейчас лягу и если Абуи и Малу хотят убить меня, то пусть это сделают, когда я буду спать, потому что завтра я уйду из Горимы.

Сказав это, Маклай направился к барле и взобравшись на нее, завернулся в одеяло. Его слова, повидимому, произвели большое впечатление на туземцев и, засыпая, он слышал возгласы и разговоры, в которых его имя повторялось несколько раз.

„На другое утро я, разумеется, был цел и невредим, — пишет Маклай в своем дневнике, — и перед моим уходом из Горимы Абуи принес мне в дар свинью почтенных размеров, и вместе с Малу непременно пожелал проводить меня не только до Богати, но и до моего дома...“

Большую экскурсию Миклуха-Маклай совершил на „ванге“ из Били-Били. Ванг — это большая пирога, имеющая довольно поместительную хижину на платформе. В этой хижине Миклуха-Маклай мог уместить не только все свои вещи, включая даже висячую керосиновую лампу, но нашел место для своего стола и для небольшого кресла. Каждым таким „вангом“ управляют двое людей; один управляет парусом, другой —

рулем и жители Били-Били совершают на вангах большие поездки вдоль северо-восточного берега. Старый приятель Маклая, Каин, которому принадлежал ванг, предоставляя его в распоряжение Маклая и сам отправился с ним. Миклуха-Маклай посетил много прибрежных деревень и везде папуасы встречали его самым дружественным образом и относились к нему с полным доверием. Его приглашали на общественные праздники, он присутствовал на свадьбах и похоронах, и туземцы советовались с ним в важных случаях.

Однажды к нему явилась депутация из Бонгу, для того чтобы просить его быть их спутником в случае войны, которая казалась неизбежной, так как в Горенду, в одной семье были два смертных случая, и это приписывалось заговору жителей одной горной деревни. Если не положить этому конец немедленным походом в горы, то все жители Горенду перемрут!—сказали ему. Но Миклуха-Маклай всегда был против войны и удерживал от нее туземцев. Теперь ему предстояло употребить все свое влияние и свой авторитет, чтобы удержать от этого своих приятелей папуасов. Он не мог относиться безучастно к положению дел в деревне Бонгу, находившейся всего в пяти минутах ходьбы от его дома. Жители ее волновались сильнейшим образом. Старики старались доказать ему, что война необходима, а снаружи буамрамры, где был Маклай, собралась большая вооруженная толпа, напряженно ожидавшая решения. Убеждать их в неосновательности их обвинений было бы бесполезно и Маклай не стал этого делать. Когда они кончили говорить, Маклай встал и своим обыкновенным голосом, представлявшим резкий контраст с возбужденными речами туземцев, обратился к ним со следующими словами:

— Маклай говорит войны не будет! А если вы отправитесь в поход, в горы, то с вами со всеми, с людьми Горенду и Бонгу, случится несчастье.

Наступило торжественное молчание, затем посыпались вопросы: „Что случится?“, „Что будет?“, „Что Маклай сделает?“...

— Сами увидите, если пойдете в поход,—отвечал он им и, медленно пройдя мимо взволнованных туземцев, отправился домой.

Не успел он дойти до своей хижины, как его нагнал один из стариков, запыхавшись от ходьбы.

— Маклай,—спросил он, задыхаясь,—если люди Бонгу отправятся в горы, не случится ли „тангрин“ (землетрясение)? Люди Бонгу, Гумбу, Горенду, Богати, все, все боятся „тангрина“! Скажи случится „тангрин“?

— Может быть,—отвечал Маклай и быстрыми шагами направился к хижине.

Недели через две к нему пришел его старый приятель Туй. Он сказал ему, что все жители Горенду хотят выселиться. Маклай удивился и Туй об'яснил ему:

— Мы все боимся жить там. Останемся в Горенду,—мы все умрем, один за другим. Двое уже умерли от „онима“ (колдовства) людей горной деревни, так и другие умрут. Не только люди умирают, но и кокосовые пальмы больны. Листья у всех стали красные и они все умрут. Мана-тамо (горные люди) зарыли „оним“ в Горенду, вот и кокосовые пальмы умирают! Хотели мы побить этих людей да нельзя, Маклай не хочет, говорит: Случится беда! Люди Бонгу трусят, боятся „тангрин“. Случится „тангрин“—все деревни кругом скажут: люди Бонгу виноваты. Маклай говорил: будет беда, если Бонгу пойдет в горы... Все деревни пойдут на Бонгу. Вот люди Бонгу и боятся. А в Горенду людей слишком мало, чтобы итти воевать одним. Поэтому мы и хотим разойтись в разные стороны,—закончил Туй совсем унылым голосом.

Маклай имел обыкновение часу в шестом вечера отправляться к своим соседям в деревню Бонгу. В этот день он тоже пошел туда, рассчитывая увидеть там также и жителей других деревень, которые должны были прийти туда. Придя в деревню, он отправился в буамрамру, где происходил громкий оживленный разговор, который оборвался при его появлении. Он подумал, что туземцы говорили о нем или о чем-нибудь таком, что хотели скрыть от него. В буамрамре было целое собрание, но все молчали, когда пришел Маклай и сел между ними. Он понял, что помешал их совещанию. Наконец, один из его старых приятелей, по имени Саул, которому он всегда доверял больше, чем другим,

подошел к нему и, положив ему руку на плечо, заглянул ему в глаза и спросил его заискивающим голосом:

— Маклай, скажи, можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, Богати, Били-Били?..

Вопрос этот, произнесенный каким-то торжественным, хотя и просительным тоном, поразил Маклая своей неожиданностью, но он увидел по выражению лиц окружающих, что все с напряжением ожидают его ответа.

„Я подумал, что вероятно туземцы об этом разговаривали перед моим приходом и поэтому понял, почему мое появление прекратило их разговор,—пишет Маклай.—Мне надо было хорошо обдумать свой ответ. Туземцы были убеждены, что Маклай не скажет им неправды. Поэтому сказать „нет“ было нельзя, тем более, что пожалуй завтра или через несколько дней какая-нибудь случайность могла бы им показать, что я сказал неправду. Ответив „да“, я сам поколеблю свою репутацию, которая особенно важна именно теперь через несколько дней после запрещения войны... Я встал, прошелся по буамрамре и, взглянув на коллекцию разного оружия, снял со стены тяжелое и острое копье. Метко брошенное, оно могло причинить неминуемую смерть. Подойдя к Саулу, стоявшему посреди буамрамры и следившему за моими движениями, я подал ему копье, отошел на несколько шагов и остановился против него. Я снял шляпу, широкие поля которой закрывали мое лицо. Я хотел, чтобы туземцы ясно увидели по моему лицу, что „Маклай“ не шутит и не моргнет глазом, что бы не случилось... Я сказал тогда: „Посмотри, может ли Маклай умереть? Смущенный Саул, хотя и понял смысл моего предложения, но даже не поднял копья и первый заговорил: „Арен! Арен!“ (нет, нет!). Некоторые из туземцев бросились ко мне, словно желая заслонить меня своим телом от копья Саула. Подождав еще несколько мгновений, я назвал Саула „бабой“ шутливым тоном и, вернувшись на свое место, сел между туземцами. После этого никто уже больше не спрашивал меня: „могу ли я умереть?“.

Судно, которое должно было прийти за Маклаем не позже декабря 1876 года, не явилось, и Маклай очутился в трудном положении. У него вышли все запасы и он оказался

в отношении пропитания в полной зависимости от туземцев и питался почти исключительно растительной пищей. Наконец, в ноябре 1877 года к нему на выручку пришла английская шхуна. Уезжая, Миклуха Маклай оставил большую часть своего имущества под охраной туземцев, относившихся с большим уважением к его собственности.

В третий и последний раз Миклуха-Маклай посетил Новую Гвинею в 1883 году, на русском военном судне, которое он встретил в Батавии, на пути в Австралию. Командир судна сказал ему, что он намерен посетить некоторые острова Меланезии и может быть заедет на берег Маклая. Путешественник обрадовался возможности снова увидеть Новую Гвинею и узнать, что случилось с его друзьями папуасами.

Когда Миклуха-Маклай с'ехал на берег в Новой Гвинее, то сейчас же увидел там несколько старых знакомых из Гумбу и сказал им, что завтра утром будет в Бонгу. Туземцы обступили его, и перебивая друг друга, обращались к нему с вопросами, где он будет жить и когда надо начать строить хижину для него. Деревня Бонгу показалась ему на этот раз как-то меньше и запущеннее. Действительно, припомнив расположение деревни, он скоро открыл, что целых две площадки, с окружающими их хижинами обратились в пустырь. Площадки поросли травой, а на развалинах хижин рос кустарник. На его вопросы ему об'яснили, что из туземцев, живших в этих хижинах, одни перемерли, а другие выселились. Он спросил о Туе и узнал, что он умер. Миклуха-Маклай очень пожалел о своем старом приятеле.

Отправившись туда, где пять—шесть лет тому назад стоял его дом, он с трудом узнал местность. Густой кустарник рос под большими деревьями, которые окружали тогда его хижину. Только местами изредка выглядывали между зеленью посаженные им кокосовые пальмы, бананы и др. растения. Вместо широких дорожек, всегда содержавшихся в большой чистоте около его хижины, теперь оказались только две—три тропинки, по которым лишь с трудом можно было пробираться. Когда он вспомнил, с какими хлопотами он строил себе дом, с каким терпением разводил свою плантацию, ему с трудом верилось, что столь короткого промежутка времени

оказалось достаточно, чтобы превратить все в глухой уголок густого леса!... Но и хорошо знакомая ему тропинка в деревню Горенду тоже была неузнаваема. Невысокий тогда кустарник превратился в большие деревья. Особенно же поразило его вид деревни Горенду. Тогда это была значительная деревня, а теперь оставались только две—три хижины и все заросло до неузнаваемости.

„Мне стало так грустно,—пишет Миклуха-Маклай,—что я поспешил вернуться на берег и снова пошел в Бонгу. Там я чувствовал себя как дома и мне положительно кажется, что ни к одному уголку земного шара, где мне приходилось жить во время моих странствований, я не чувствую такой привязанности, как к этому берегу Новой Гвинеи! Каждое дерево казалось мне тут старым знакомым. Когда я пришел в деревню, вокруг меня собралась толпа, но многих знакомых лиц я не мог досчитать, многие показались мне совершенно неизвестными. В мой последний приезд они были еще юношами, а теперь у них у самих были дети. Только немногие из стариков оказались моими старыми приятелями. Были и такие среди них, которые, прислонясь к моему плечу, всплакнули и всхлипывая стали пересчитывать умерших во время моего отсутствия. Всем хотелось, чтобы я по старому поселился между ними, на этот раз уже в самой деревне, и все хотели знать, когда я опять вернусь“..

Миклуха-Маклай посетил и остров Били-Били, где его встретила толпа туземцев и среди них он увидел своего старого приятеля Каина. Вместе с ним он отправился на пироге в деревню Бомасси, о которой столько слышал в 1876 году, и жители которой считались людоедами. Но самому ему не удалось проверить этого. Каин уверял его, что туземцы Бомасси варят человеческий мозг в самом черепе и когда все бывает съедено, то кости выбрасывают в море. Миклуха-Маклай был доволен, что туземцы не угощали его мясом в этот день и, следовательно он мог быть уверен, что ему не преподнесли человеческого мяса.

Русский корвет должен был сняться на другой день, но противный ветер помешал этому и Маклай воспользовался этой задержкой и посетил маленький островок по имени Ме-

гаснена, покрытый растительностью и представлявший во многих местах большое удобство для причаливания шлюпок. Через посредство Каина он спросил у туземцев, которые считают этот остров своим, согласны ли они дать ему этот остров для того, чтобы он мог построить там для себя дом в случае своего возвращения. Все не только дали свое согласие, но были даже очень довольны, услышав, что Маклай опять хочет поселиться среди них...

Но Миклухе-Маклаю не суждено было осуществить это намерение. Это было его последнее путешествие в Новую Гвинею. Больше он туда не вернулся...

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие	7
Один среди дикарей	11

Из дневника Н. Н. Миклухи-Маклая.

Первое знакомство с дикарями	15
Сношения с туземцами	31
Жизнь в Новой Гвинее	44
Смерть Боя	67
Сближение с туземцами	74
В гостях у туземцев	78
Ночной праздник	96
Меновая торговля. — Семейная жизнь	106
От'езд из Новой Гвинее	112
Вторичное путешествие в Новую Гвинею в 1874 году	118

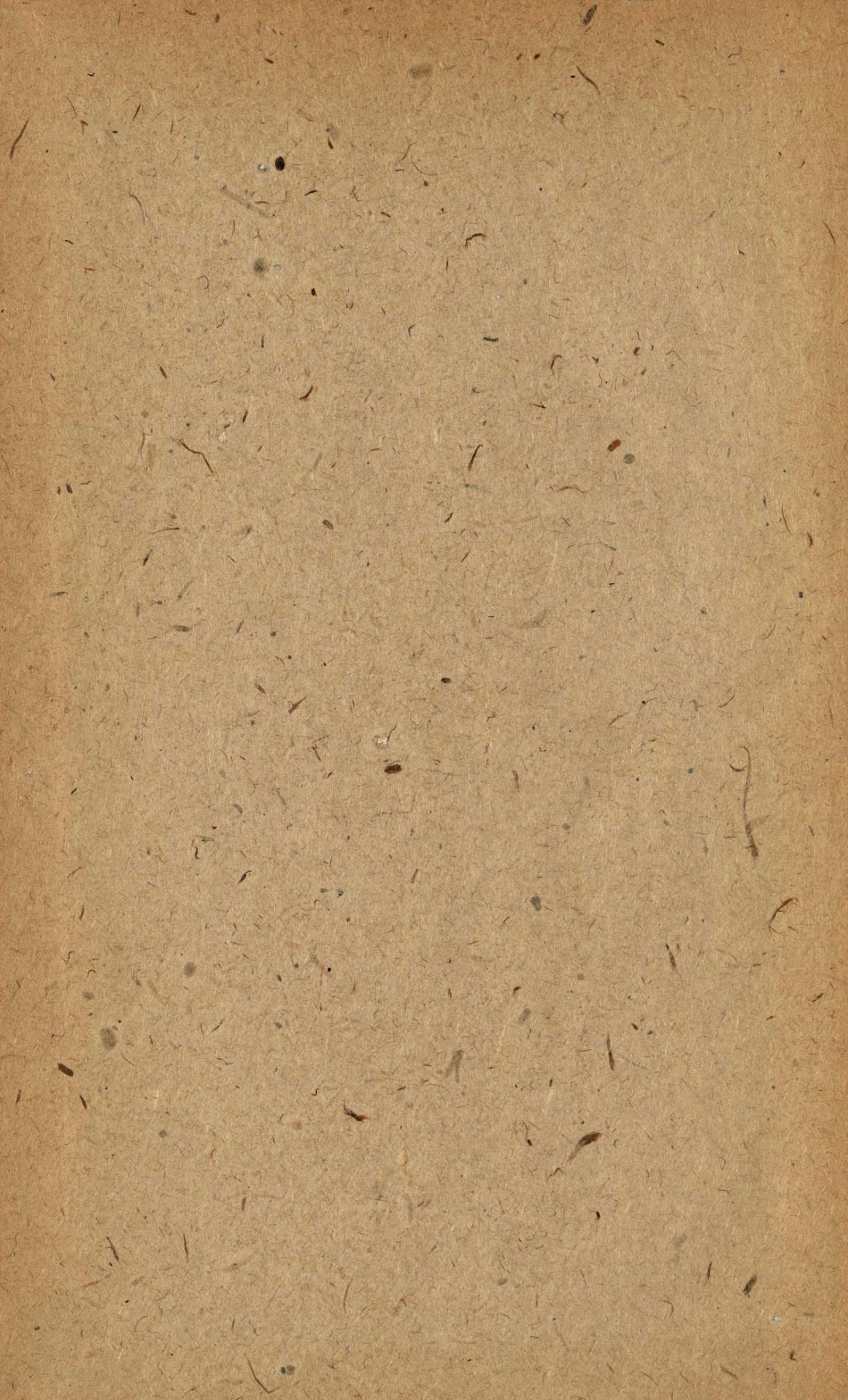
10471

Цена 1 руб., в переплете 1 руб. 30 коп.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
ТОВАРИЩЕСТВО „КНИГА“

Ленинград, Пр. 25 Октября, 74. Тел. 1-34-34 и 1-70-94
Москва, Б. Гнезниковский пер., № 10. Тел. 2-64-61





pro
clut
as



2020125472